



Марина
Цветаева

Одна – здесь – ЖИЗНЬ

Одна – здесь – жизнь,
другая – там (в тетради)

Марина Ивановна Цветаева

Одна – здесь – жизнь

<http://litres.ru/>

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4970633

*Одна – здесь – жизнь : автобиографическая проза / Марина Цветаева ;
сост., коммент. Л.А. Мнучина.: АСТ, Астрель; Москва; 2012
ISBN 978-5-271-45387-8*

Аннотация

«Одна – здесь – жизнь» – лучшие произведения художественной прозы Марины Ивановны Цветаевой. Будучи до конца верной прошлому, она писала только о том, что сама видела, помнила, переживала.

Марина Цветаева пишет о родителях – матери, талантливой пианистке М.А.Мейн и отце, создателе Музея И.В.Цветаеве, о современниках-поэтах – «беспутном» и «совершенно неотразимом» Бальмонте, «герое труда» Валерии Брюсове, «живом» и «похожем» Мандельштаме, «миросозерцателе» и мистификаторе Максе Волошине, «беззащитном от легенд» Андрее Белом; об актрисе Сонечке Голидей, с которой поэта связывала теплая дружба.

Содержание

Мать и музыка	5
Мать и музыка	5
Сказка матери	45
Отец и его музей	55
Музей Александра III	55
Лавровый венок	66
Открытие музея	74
Отец и его музей	82
I Шарлоттенбург[25]	82
II Машинка для стрижки газона[26]	88
III Мундир[27]	89
IV Приют[28]	95
v Лавровый венок[29]	96
Москва, 1918–1920 гг. (дневниковые записи)	100
Мои службы	100
Пролог	100
Эпилог	144
Из дневника	148
Грабеж	148
Расстрел царя	151
Покушение на Ленина	152
Чесотка	154
Fräulein[40]	155

Ночевка в коммуне	156
Воин христов	161
Смерть Стаховича	163
Моя встреча с Стаховичем	174
Чердачное	184
О любви	202
О благодарности	227
Отрывки из книги «Земные приметы»	238
Конец ознакомительного фрагмента.	265

Марина Ивановна Цветаева

Одна – здесь – жизнь

Мать и музыка

Мать и музыка

Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере будет музыкантша». Когда же моим первым, явно бессмысленным и вполне отчетливым догодовальным словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала» – и тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму: «До, Муся, до, а это – ре, до – ре...» Это до – ре вскоре обернулось у меня огромной, в половину всей меня, книгой – «книгой», как я говорила, пока что только ее «кинги», крышкой, но с такой силы и жути прорезающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то определенном уединенном *ундинном* месте сердца – жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и оттуда, при малейшем прикосновении, встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая –

слезы. Это до – ре (Дорэ), а ре – ми – Реми, мальчик Реми из «Sans Famille»¹, счастливый мальчик, которого злой муж кормилицы (estopie², с точно спиленной ногой: pied) калека Рёге Barberin сразу превращает в несчастного, сначала не дав блинам стать блинами, а на другой день продав самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его трем собакам: Капи, Зербино и Дольче, единственной его обезьяне – Жоли Кёр, ужасной пьянице, потом умирающей у Реми за пазухой от чахотки. Это ре – ми. Взятые же отдельно: до – явно белое, пустое, до всего, ре – голубое, ми – желтое (может быть – midi³?), фа – коричневое (может быть, фаевое выходное платье матери, а ре – голубое – река?) – и так далее, и все эти «далее» – есть, я только не хочу загромождать читателя, у которого *свои* цвета и *свои* на них резоны.

Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося «молодец!», холодно прибавляла: «Впрочем, ты ни при чем. Слух – от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я – ни при чем, что слух – от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от самосомнения, со всякого, в искусстве, самолюбия – раз слух от Бога. «Твое – только старание, потому что каждый Божий дар можно загубить», – говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и уже из-за этого запо-

¹ «Без семьи» (фр.).

² Искалеченный (фр.).

³ Полдень (фр.).

минающей так, что потом уже ничем не выбьешь. И если я этого своего слуха не загубила, не только сама не загубила, но и жизни не дала загубить и забить (а как старалась!), я этим опять-таки обязана матери. Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросши, не только бы больше понимали, но и тверже поступали, разъяснять ребенку ничего не нужно, ребенка нужно – заклясть. И чем темнее слова заклития – тем глубже они в ребенкарастают, тем непреложнее в нем действуют: «Отче наш, иже еси на небесех...»

С роялем – до-ре-ми – клавишным – я тоже сошлась сразу. У меня оказалась на удивительность растяжимая рука. «Пять лет, а уже почти берет октаву, чу-уточку дотянуться! – говорила мать, голосом вытягивая недостающее расстояние и, чтобы я не возомнила: – Впрочем, у нее и ноги такие!» – вызывая у меня этими «ногами» смутный и острый соблазн когда-нибудь и ногой попытаться взять октаву (тем более что я одна из всех детей умею расставлять на ней пальцы веером!), чего, однако, никогда не посмела не только сделать, но даже додумать, ибо «рояль – святыня», и на него ничего нельзя класть, не только ног, но и книг. Газеты же мать, с каким-то высокомерным упорством мученика, ежеутренне, ни слова не говоря отцу, неизменно и невинно туда их клавишному, с рояля снимала – сметала – и, кто знает, не из этого ли сопоставления рояльной зеркальной предельной чистоты и черноты с беспорядочным и бесцветным газетным ворохом,

и не из этого ли одновременно широкого и педантического материнского жеста расправы и выросла моя ничем не вытравливаемая, аксиомная во мне убежденность: газеты – нечисть, и вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира – месть. И если я когда-нибудь умру под забором, я по крайней мере буду знать *отчего*.

Кроме большой руки у меня оказался еще «полный, сильный удар» и «для такой маленькой девочки удивительно-одушевленное туше». Одушевленное туше звучало как бархат и было коричневое, а так как *toucher* – трогать, выходило, что я рояль трогаю, как бархат: бархатом: коричневым бархатом: кошкой: *patte de velours*⁴.

Но о ногах я не кончила. Когда, два года спустя после Александра – меня, родилась заведомый Кирилл – Ася, мать, за один раз – приученная, сказала: «Ну что ж, будет вторая музыкантша». Но когда первым, уже вполне осмысленным словом этой Аси, запутавшейся в голубой сетке кровати, оказалось «ранга» (нога), мать не только огорчилась, но вознегодовала: «Нога? Значит – балерина? У меня – дочь балерина? У дедушки – внучка балерина? У нас, слава Богу, в семье никто не танцевал!» (В чем ошиблась: был один роковой, в жизни ее матери, бал и танец, с которого все и пошло: и ее музыка, и мои стихи, вся наша общая лирическая неизбежная беда. Но *она* этого не узнала – никогда. Узнала – я, без малого сорок лет спустя этого ее горделивого утверждения,

⁴ Бархатной лапкой (*фр.*).

в Русском доме Св. Женевиьевы – как, расскажу в свой срок.)

Годы шли. «Нога» как будто сбывалась. Во всяком случае, Ася, очень легкая на ногу, на рояле играла ужасно – совершенно фальшиво, но, к счастью, так слабо, что уже из смежной гостиной ничего не было слышно. Боюсь теперь ошибиться, но навряд ли она, добросовестно, до предела растянув руку, брала больше, чем от *до* до *фа*. Рука (как и нога) была крохотная, удар – мимовой, а туше – мушиное. Все же вместе, когда доходило до уха, резало его, как бритвой (мочку).

– Значит, в Ивана Владимировича, – сокрушенно, но уже смирившись, говорила мать, – у него на редкость никакого слуха. Впрочем, у Асеньки как будто слух есть, и если бы можно было расслышать, что она поет, – может быть, и было бы верно? Но почему она на рояле так фальшивит?

Мать не понимала, что Ася за роялем, по малолетству, просто невыносимо скучает и только от собственного засыпания берет мимо (нот!), как слепой щенок – мимо блюда. А может быть, сразу брала по две ноты, думая, что так скорее возьмет – все положенные? А может быть (по две), как муха, по недостатку веса не могущая нацелиться на именно эту клавишу? Так или иначе, игра была не только плачевная, но – слезная, с ручьями мелких грязных слез и нудным комариным: и – и, и – и, и – и, от которого все в доме, даже дворник, хваталась за голову с безнадежным возгласом: «Ну, завела!» И именно потому, что Ася играть продолжала, мать

внутри себя от ее музыкальной карьеры с каждым днем все безнадежнее отказывалась, всю свою надежду вымещая на большерукой и бесслезной мне.

– Нога, нога, – говорила она задумчиво, идя с нами, уже подросшими и тоже стриженными, по стриженному осеннему калужскому лугу, – но что ж, в конце концов балерина тоже может быть порядочной женщиной. Я знала одну, в Сокольниках – у нее даже было шесть человек детей, и она была отличная мать, настолько образцовая, что даже *дедушка* однажды отпустил меня к ней на крестины... – И уже явно шутя (и мы это понимали): – Муся – знаменитой пианисткой, Ася (как бы проглатывая) – знаменитой балериной, а у меня от гордости вырастет второй подбородок. – И, вовсе уже не шутя, а с глубокой сердечной радостью и горестью: – Вот мои дочери и будут «свободные художники», то, чем я так хотела быть. (Ее отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла только раз, вместе со стариком Поссартом, за год до его и своей кончины.)

...Но с нотами, сначала, совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиша есть, здесь, вот она, черная или белая, а ноты нет, нота на линейке (на какой?). Кроме того, клавишу – слышно, а ноту – нет. Клавиша – есть, а ноты – нет. И зачем нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды, на заголовке поздравительного листа, данного мне Августой Ивановной для *Glixckwunsch*'а⁵ мате-

⁵ Поздравления (нем.).

ри, не увидела сидящих на нотной строке вместо нот – воробушков! Тогда я поняла, что ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши прыгивают, каждая на свою. Тогда она – звучит. Некоторые же, запоздавшие (как девочка Катя из «Вечерних досугов»: поезд, машина, уходит, а опоздавшие Катя с няней – плачут...) – запоздавшие, говорю, живут над ветками, на каких-то воздушных ветках, но все-таки тоже прыгивают (и не всегда влопад, тогда – фальшь). Когда же я перестаю играть, ноты на ветки возвращаются и так, как птицы, спят и тоже, как птицы, никогда не падают. Лет двадцать пять спустя они у меня все же упали и даже – ринулись:

Все ноты ринулись с листа,
Все откровенья с уст...

Но нот я, хотя вскоре и стала отлично читать с листа (лучше, чем с лица, где долго, долго читала – только лучшее!), – никогда не полюбила. Ноты мне – мешали: мешали глядеть, верней, не-глядеть на клавиши, сбивали с напева, сбивали с знанья, сбивали с тайны, как с ног сбивают, так – сбивали с рук, мешали рукам знать самим, влезали третьим, тем «вечным третьим в любви» из моей поэмы (которой по простоте – ее, или сложности – моей, никто не понял) – и я никогда так надежно не играла, как наизусть.

Но помимо всего сказанного, верного не только для меня, но для каждого начинающего, теперь вижу, что мне для

нот было просто слишком рано. О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот – хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще... Чтобы было, чем помянуть! Чтобы сразу накормить – на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала – и даже давила! – не давая улечься, умяться (нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом – впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание, – как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь – самое ценное – для долгией сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним – нырок в сундук, где, оказывается, еще – *всё*. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало. (О, неистощимость материнского дна, непрерывность подачи!) Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика – то, чего всегда мало, дважды – мало: как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало – как радия, то, что само есть – недостаток всего, сам недостаток, только потому и хватающий звезды! – то, чего не может быть *слишком*, потому что оно

– само *слишком*, весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущий в тоску, горамидвигающую.

Мать не воспитывала – испытывала: силу сопротивления – подастся ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом – теперь – уже ничем не накормишь, не наполнишь. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. *Их* счастье – что не удалось, *наше* – что удалось!

После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом. Чтобы избыть ее дар – мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов.

Знала ли мать (обо мне – поэте)? Нет, она шла *va banque*, ставила на неизвестное, на себя – тайную, на себя – дальше, на несбывшегося сына Александра, который не мог всего не мочь.

Но все-таки для нот было слишком рано. Если неполные пять лет вовсе не рано для букв – я свободно читала с четырех, и много таких детей знаю, – то для нот то же неполное пятилетие бесспорно и злоторно – рано. Нотно-клавишный процесс настолько сложнее буквенно-голосового, насколько сложнее сам клавиш – собственного голоса. Образно говоря: можно не попасть с ноты на клавишу, нельзя не попасть с буквы – на голос. И совсем просто говоря: если между мной и клавиатурой вставляли – ноты, то между нотой и мной – вставляла клавиатура, постоянно теряемая – из-за нотного листа.

Не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне гадательном смысле играемого такта. Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переведен, иначе – звук пуст. Но когда же мне, пятилетней, чувствовать и это чувство выражать, когда я уже опять ищу: сначала глазами, на линейке, знака, потом, в уме, соответствующей этому знаку – ноты гаммы, потом – пальцем – соответствующей этой ноте клавиши? Выходит игра с тремя неизвестными, а для пятилетнего достаточно – одного, за которым еще, всегда, другое, которое есть только ввод в большее неизвестное, которое за всяким смыслом и звуком, в огромное неизвестное – души. Или уж – надо быть Моцартом!

Но клавиши – я любила: за черноту и белизну (чуть желтизну!), за черноту, такую явно, – за белизну (чуть желтизну!), такую тайно-грустную, за то, что одни широкие, а другие узкие (обиженные!), за то, что по ним, не сдвигаясь с места, можно, как по лестнице, что эта лестница – из-под рук! – и что от этой лестницы сразу ледяные ручки – ледяные лестницы ручьев вдоль спины – и жар в глазах – тот самый жар в долине Дагестана из Андрюшиной хрестоматии.

И за то, что белые, при нажмем, явно веселые, а черные – сразу грустные, *верно* – грустные, настолько *верно*, что, если нажму, – точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз – слезы.

И за самый нажим: за возможность, только нажав, сразу

начать тонуть, и, пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна, – и даже когда отпустишь!

За то, что с виду гладь, а под гладью – глубь, как в воде, как в Оке, но глаже и глубже Оки, за то, что под рукой – пропасть, за то, что эта пропасть – из-под рук, за то, что, с места не сходя, – падаешь вечно.

За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом прикосновении – и поглотить.

За страсть – нажать, за страх – нажать: нажав, разбудить – всё. (То же самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)

И за то, что это – траур: материнская, в полоску блузка того конца лета, когда следом за телеграммой: «Дедушка тихо скончался» – явилась и она сама, заплаканная и все же улыбающаяся, с первым словом ко мне: «Муся, тебя дедушка очень любил».

За прохладное «ivoire», мерцающее «Elfenbein»⁶, баснословное «слоновая кость» (как слона и эльфа – совместить?).

(И – детское открытие: ведь если неожиданно забыть, что это – рояль, это просто – зубы, огромные зубы в огромном холодном рту – до ушей. И это рояль – зубоскал, а вовсе не Андрюшин репетитор Александр Павлович Гуляев, которого так зовет мать за вечное хохотание. И зубоскал совсем не веселая, а страшная вещь.)

За «клавиатуру» – слово такое мощное, что ныне могу его

⁶ Слоновая кость (*фр.*), (*нем.*).

сравнить только с вполне раскрытым крылом орла, а тогда не сравнивала ни с чем.

За «хроматическую гамму» – слово, звучавшее водопадом горного хрусталя, за хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, чем грамматическое – что бы ни было, которого и сейчас не понимаю, с которого-то и перестаю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла простой: тупой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За хроматическую, которая тут же, никуда не уходя, ни вправо ни влево, а только вверх, настолько длиннее и волшебнее простой, насколько длиннее и волшебнее наша тарусская «большая дорога», где можно пропасть за каждым деревом – Тверского бульвара от памятника Пушкина – до памятника Пушкина.

За то, что – это я сейчас говорю – Хроматика есть целый душевный строй, и этот строй – мой. За то, что Хроматика – самое обратное, что есть грамматике, – Романтика. И Драматика.

Эта Хроматика так и осталась у меня в спине.

Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребет, живая лестница, по которой все имеющее во мне разыграться – разыгрывается. И когда играют – по моим позвонкам играют.

...За слово – клавиш.

За тело – клавиш.

За дело – клавиш.

И слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, как Валериины флаконы, и рифмовавшее во мне с желтофиоль, никогда не виденным материнским могильным цветком, с первой страницы «Истории маленькой девочки». И «диез», такое прямое и резкое, как мой собственный нос в зеркале. Labemol же было для меня пределом лиловизны: лиловее тарусских ирисов, лиловее страховской тучи, лиловее сегюровской «Foret des Lilas»⁷.

Бемоль же, начертанный, мне всегда казался тайный знак: точно мать, при гостях, подымет бровь и тут же опустит, этим загоняя что-то мое в самую глубину. Спуском брови над знаком глаза.

Бэкар же был просто – пуст: знак, что не в счет, олицетворенное как не бывало, и он сам был не в счет, и его самого не было, и я к нему относилась снисходительно, как к пустому дураку. Кроме того, он был женат на Бэккере.

Вначале еще смущали верх и низ, верх, который я неизменно ощущала басами, *левым*, – а низ – дискантом, тонизной, *правым* концом клавиатуры, беззвучным уже дребезгом, концом звука и началом лака. (Наверху – горы и гром, внизу – букашки, мухи, например, бубенчики, одуванчики, комары, пискари – такое...) Теперь вижу, что была права, ибо читаем мы слева направо, то есть с начала к концу, а начало никак не может быть низом, который сам по себе есть схождение на нет. (Тонкий звук сходит на нет, а глухой, ба-

⁷ «Сиреновой рощи» (*фр.*).

совый – ins All⁸. В рояльный лак. В гулы.) Клавишно-вокальное определение верха и низа соответствовало бы европейскому письму.

Но больше всего, из всего ранне-рояльного, я любила – скрипичный ключ. *Слово* — такое чудное и протяжное и именно непонятностью своей (почему *скрипичный*, когда – рояль?) внедрявшееся, как ключом отмыкавшее весь запретный скрипичный мир, в котором, из полной его темноты, уже занывало имя Паганини и горным хрусталем сверкало и грохотало имя Сарразаты, мир – я это уже знала! – где за игру продают черту – душу! – слово, сразу делавшее меня почти скрипачом. И еще другой ключ: *Born*, ключ *Oheim Kiihlborn*⁹: Дядя Струй, из жемчужной струи разрастающийся в смертоносный поток... И еще ключ – другой:

...холодный ключ забвенья,
Он лучше всех жар сердца утолит! —

из Андриюшиной хрестоматии, с двумя неизвестными: «забвенье» и «утолит», и двумя известными: «жар» и «сердце», которые есть – одно.

Слово и вид – лебединый, вид, который я так любовно воспроизводила на нотной бумаге, с чувством, что сажаю лебедя на телеграфные провода.

⁸ В бесконечность (нем.).

⁹ *Born* – ключ, *Oheim* – дядюшка, *kiihlborn* – холодный ключ (нем.).

Басовый же мне ничего не говорил: ни вид, ни звук, и я его втайне презирала. Во-первых – ухо, простое грубое ухо с двумя дырками, но проткнутыми – о глупость! не в нем, а рядом – и двумя вместо одной, точно можно в одном ухе носить две серьги и точно вообще бывает одно ухо. (Ушной вопрос меня очень интересовал, ибо мать, у которой уши были проткнуты и серьги – висели, называла это варварством, а ее подчерица, институтка Валерия, которая считала это красотой, никак не могла этого проткнутая добиться: то запухали, то зарастали – так и ходила злая, с шелковинкой.) Слово же «басовый» – просто барабан, бас: Шаляпин. А одна полоумная поклонница (у нее пол-ума, и она все время кланяется!) ставит в двенадцать часов ночи своего трехлетнего Сашу на стол и заставляет его петь, «как Шаляпин». И от этого у него круги под глазами и он совершенно не растет. Нет, Бог с басовым! И уже для собственного удовольствия, долбя коленями стул, локтями – стол, ряд чудесных скрипичных, один другого внизу – полнее, вверху – стройнее, – целая вереница скрипичных лебедей!

Но это было письменное, писёцкое, писательское рвение. Музыкального рвения – и пора об этом сказать – у меня не было. Виной, верней, причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей – себя! С меня, уже писателя – меня, никогда не музыканта. «Отсидишь свои

два часа – и рада! Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! “Noch ein wenig!”¹⁰ Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!» Не попросила – никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой – замучила.) Но и в игре была честна, играла без обману два своих положенных утренних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала – с тем же успехом могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» над нотной этажеркой), но как их глубокому зову – радуясь! Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки («совсем дитя замучили!») и даже дворника, топившего печку в зале: «Пойди-ка, Мусенька, пробегись!» – и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: «А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу...» Бедный папа! В том-то и дело, что *не* слышал, ни нас, ни наших гамм, ганонов и галопов, ни материнских ручьев, ни Валерииных (пела) рулад. До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал! Ведь, когда не играла я – играла Ася, когда не играла Ася – подбирала Валерия, и, покрывая и заливая всех нас, – мать – целый день и почти что целую ночь! А знал он только всего

¹⁰ Еще немножко! (нем.)

один мотив – из «Аиды» – наследие первой жены, певчей и рано умолкшей птицы. «Даже „Боже, царя храни” не умеешь спеть!» – мать ему, с шутовой укоризной. «Как не могу? Могу! (и, с полной готовностью) Бо-о-же!» Но до «царя» не доходило никогда, ибо мать, с вовсе уже не шуточно – а с истинно-страдальчески-искаженным лицом, тут же прижимала к ушам руки, и отец переставал. Голос у него был сильный.

Позже, после ее смерти, он часто – Асе: «Что ты, Асенька, как будто фальшивишь?» – для очистки совести – заменяя мать.

Нет, несмотря ни на какие соблазны, соболезнования и зовы – играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Рояль у самого окна, точно безнадежно пытаюсь в него всем своим слоно-вым неповоротом – выйти, и в самое окно, уже наполовину в него войдя, как живой человек – жасмин. Пот льет, пальцы красные – играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Смотрю на кисть, которую в детстве матери нужно было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцените коварство!) *севрской* чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля, а ныне, в моем – держать в непрерывном движении свободы, в чередовании поклона и заброса, чтобы играющая рука, в совокупности локтя, кисти и концов пальцев, давала пью-

щего лебедя, и на обороте которой (кисти) голубые жилы, у меня, если нажать, дают явную букву Н – того Николая, за которого, по толкованию немки, я через двенадцать лет выйду замуж, – по француженке же: Ненгі. Все на воле: Андрюша с папой пошли купаться, мама с Асей «на пеньки», Валерия в Тарусу на почту, только кухарка одна стучит котлетным ножом – и я – по клавишам. Или, осень: Андрюша строгаёт палку, Ася, высунув язык, рисует дома, мама читает «Eskerhardt», Валерия пишет письмо Вере Муромцевой, я одна – «играю». (Зачем??)

– Нет, ты не любишь музыку! – сердилась мать (именно сердцем – сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. – Нет, *ты* музыку – *не* любишь!

Нет – любила. Музыку – любила. Я только не любила – свою. Для ребенка будущего нет, есть только *сейчас* (которое для него – *всегда*). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью «пески». И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тем мужем Николаем или Ненгі. Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходявшей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было «любить музыку». В ней две музыкальные крови, отцовская и материнская, слились в одну, эти две-то ее всю и дали! И она

не учитывала, что собственной, певучей, лирической, одностихийной, она сама же противопоставила во мне браком – другую, филологическую и явно континентальную, с ее кровью, – неслиянную – и неслившуюся.

Мать – залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли – на свет дня!) Мать затопила нас как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не *ins Leben*, а *in die Musik hinein*¹¹. Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (*будущее* включая!). Каково же было, после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев (тех самых ундинных, лесноцаревых, «жемчужны струи»), слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома «игранье»? И как я могла не чувствовать к нему отвращенья? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом. (Помню, кстати, что одна из ее самых любимых русских книг была «Слепой музыкант», которым она меня постоянно попрекала, как и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, а позже – Мусей Потаповой, которая меня обскакивала, и кем еще *не*, и кем только *не!*..)

Щелк метронома. Есть в моей жизни несколько незабле-

¹¹ Не в жизнь, а в музыку (*нем.*).

мых радостей: не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и не слышать метронома. Как это музыкальные уши его переносят? (Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души?) Метроном я, до четырех лет, даже любила, почти так же, как часы с кукушкой, и за то же: за то, что в нем тоже кто-то живет, причем кто – неизвестно, потому что я его, в доме, обновила. Это был дом, в котором я сама хотела жить. (Дети всегда хотят в чем-нибудь немислимом жить – так мой сын, шести лет, мечтал жить в уличном фонаре: светло, тепло, высоко, все видно. «А если в твой дом бросят камнем?» – «Тогда я в них буду бросаться огнем!») Но как только я под его методический щелк *подпала*, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания, как и сейчас боюсь по ночам будильника, всякого равномерного, в ночи, звука. Точно по мою душу идет этот звук! Кто-то стоит над твоей душой, и тебя торопит, и тебя удерживает, не дает тебе нидохнуть, ни глотнуть, и так же будет тебя торопить и удерживать, когда ты уйдешь, – один в пустой зале, над пустым табуретом, над закрытой рояльной крышкой, – потому что его забыли закрыть – и доколе не выйдет завод. Неживой – живого, тот, которого нет, – того, который есть. А вдруг завод – никогда не выйдет, а вдруг я с табурета – никогда не встану, никогда не выйду из-под тик – так, тик – так... Это была именно Смерть, стоящая над душой, живой душой, которая может умереть, – бессмертная (уже мертвая) Смерть. Метроном был – гроб, и жила в нем –

смерть. За ужасом звука я даже забывала ужас вида: стальная палка, вылезаящая, как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной. Это была моя первая встреча с техникой и предрешившая все остальные, техника во всей ее свежести, ее стальной букет, ее первый, мне, стальной бутон. О, я никогда не отставала от метронома!

Он меня держал – не только в такте, но физически приковывал к табурету. Открытый метроном был лучшей гарантией, что я не оглянусь на часы. Но мать, к счастью, иногда забывала, и никакая моя – ее! – протестантская честность не могла заставить меня напоминанием обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить – так метроном. И не перестал еще идти из глаз моих тот взгляд сладострастной мести, которым я, отыграв и с самым непринужденным видом проходя мимо этажерки, его, через все высокомерие плеча, дарила: «Я – иду, а ты – стоишь!»

Но мимо этажерки я не только проходила, я у нее подолгу стояла. Этажерка была та же библиотека, но – немая, – точно я вдруг ослепла или одурела. Или та же стена отцовских латинских, материнских английских книг, именно стена – непроницаемая: читаю буквы и не понимаю. Настолько ума у меня было, чтобы сознавать, что здесь, в этих коричневых, вожаденно-толстенных и громадных тетрадных томах – все «жемчужны струи» и моря материнской игры. Но не слышу – глухо! Видит око – да зуб неймет! Тогда, отклавшись, начинаю читать слова: Opus – Moll – Rubinstein –

Нувеллист...

Нотная этажерка делилась на «мамино» и «Лёрино». Мамино: Бетховен, Шуман, опусы, Dur'bi, Moll'и, Сонаты, Симфонии, Allegro non troppo, и Лёрино – Нувеллист. Нувеллист + Романсы (через французское ап). И я, конечно, предпочитала «ансы». Во-первых, в них вдвое больше слов, чем нот (на одну нотную строчку – две буквенные), во-вторых, я всю Лёрину библиотеку могу прочесть *подстрочно*, минуя ноты. (Когда я потом, вынужденная необходимостью *своей* ритмики, стала разбивать, разрывать слова на слога путем непривычного в стихах тире, и все меня за это, годами, ругали, а редкие – хвалили (и те и другие за «современность»), и я ничего не умела сказать, кроме: «так нужно», – я вдруг однажды глазами увидела те, младенчества своего, романсные тексты в сплошных законных тире – и почувствовала себя омытой: всей Музыкой от всякой «современности»: омытой, поддержанной, подтвержденной и узаконенной – как ребенок по тайному знаку рода оказавшийся – родным, в праве на жизнь, наконец! Но, может быть, прав и Бальмонт, укоризненно-восхищенно говоря мне: «Ты требуешь от стихов того, что может дать – только музыка!») Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот – книги. Только жаль, что такие короткие. Распахнешь – и конец.

Вот Дивный Терем, с нарисованной зеленой вроде-дачей на ходулях и таинственной, колышками, вкось, надписью: «Посвящается Ее Высочеству Великой Княжне (не помню

какой) ко дню возвращения (а может быть, и отбытия) Ее Августейшего Жениха, Принца (забыла – какого)». «Дивный терем стоит – И хором много в нем...» Помню ожигавший и заливавший меня ликованием возглас: «Он вернется, жених!» – точно все спасение мира было в том, чтобы жених – вернулся, обещание, от музыки становившееся обетованием, звучавшее совсем как: «Благословен грядый во имя Господне!» – и, одновременно заливавшее меня тоскою, – так, точно *не* вернется жених. Этот магический удар по мне Дивного Терема – те же острые верхи тоски! – я потом узнала в Нибелунгах и, целую жизнь спустя, в бессмертном эпосе Зигрид Ундсет. Это была моя первая встреча с Скандинавским Севером. «Жених» же мне почему-то представлялся летящим на ковре-самолете или просто Змеем Горынычем, во всяком случае чем-то воздушным, с неба падающим на ту самую гору. И – как продолжение этой горы – в другом уже романсе: «Милые го-оры, мы возврати-имся...» Что это значило? И кто сочинил эти страшные слова, кроме которых ничего не помню, да, кажется, ничего и не было. Кто (да еще *мы*, во множественном!) утешает *горы*, что – возвратится? Может быть, те самые Ее Высочество с Змеем Горынычем, улетающие со своей горы – царствовать? Во всяком случае, для романса – слова странные, и, как Святополк-Мирский говорил, «теряюсь в догадках». Достоверно одно: страсть моя к горам и тоска на ровном месте, дикие для средне-россиянки, – оттуда. Горы во мне начались с тоски по ним и даже

с тоски – их – по мне: ведь я же им в утешение пела, что «возвратимся»!

А вот еще, и тоже с картинкой, которую Валерия по многу раз перерисовывала акварелью в альбомы своим институтским подругам: темно-коричневая старуха с одной серьгой, в большом клетчатом, как у нашей матери, платке, а нос и подбородок сходятся так, что как раз еще успеешь просунуть нож, – Ворожея.

Погадай-ка мне, старушка,
Я давно тебя ждала.
И косматая, в лохмотьях,
К ней цыганка подошла.

– Лохматая, в космотьях! – как во все горло пел Андрюша, только и ждавший, чтобы певица попала на эту строку. Пение кончалось погоней, а песня – что любит. «Да, сказал цветок ей темным, сердцу внятным языком. На устах ее – улыбка, в сердце – радость и гроза...»

Всю эту Лёрину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда, забывшись, при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» – «В сердце радость и гроза». – «Что это значит?» – Я, уже тихо: «Что в сердце радость и гроза». – «Что? Что?» – мать, наступая. Я, уже совсем тихо (но твердо): «Гроза – и радость». – «Какая гроза? Что значит – гроза?» – «Потому что ей страшно». – «Кому ей?» – «Которая

подошла к старушке, потому что старушка – страшная. Нет, это старушка – подошла». – «Какая старушка? Ты с ума сошла!» – «Из Лёриной песни. Одна барышня обдирала маргаритку и вдруг видит: старушка – с палкой... Это называется “Ворожея”» (ударяю на предпоследнем слоге). Мать, так же: «А что значит “Ворожея”?» – «Я не знаю». Мать, торжествуя: «А, вот видишь, не знаешь, а говоришь! Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лёриных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на ключ!» – мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно-непонимающему отцу Пользуясь отводом, скрываюсь в недостижимость лестницы, но уже с половины ее: «На устах ее улыбка, в сердце радость и гроза... Та-та, та-та, та-та, та-та... Он глядит в ее глаза...» – Так из-под самого метронома, из-под самого его, полированного, носа лились на меня потоки самой *бестактной* лирики. А иногда я, застигнутая, просто – врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась...) «Что ты опять тут делаешь?» – «Я смотрю на метроном». – «Что значит “смотрю на метроном”?» Я, с противоестественным восторгом: «Он такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя): Желтый!» Мать, уже смягченная: «На метроном нужно не смотреть, а слушать». Я, уже наверху *спасательной* лестницы, разрываясь между желанием и ужасом быть услышанной, громким, но шепотом: «Мама, а я в Лёриных нотах рылась! А метроном – урод!»

К Лёриному репертуару относились еще все ноты ее матери, все эти оперы, и арии, и аранжировки, тоже со словами, но непонятными (пению училась в Неаполе) и с подавлявшим меня количеством ненавистных мне надлинейных трижды и четырежды перечеркнутых нот. «Нувеллист» же я, за детскую простоту нотного начертания, полную его доступность моей детской несостоятельности, – презирала: столько белых и никаких перечерков, – точно взяли один материнский нотный лист и рассыпали (как кур кормят!) на целый год «Нувеллиста», – так, чтобы на каждую страницу хоть немножко попало, – почти что мой «Леберт и Штарк» – только с педалью. Педаль мне, кстати, была строго воспрещена. «От земли не видать, а уже педаль! Чем ты хочешь быть: музыкантом или (проглатывая «Лёру»)… барышней, которая, кроме педали да закаченных глаз… Нет, ты сумей *рукой* дать педаль!» Давала – ногой, но только в отсутствие матери, но зато так подолгу, что уже не понимала: уже я (гу-жу) или – еще педаль? (представлявшаяся мне, кстати, золотой туфелькой – Plattfuss¹² – Золушки!). Но у педали была еще одна – словесная родня: *педель*, педель студенческих *сходок*, педель, забравший на сходке нашего с Асей до собачьего вою любимого Аркадия Александровича (Аркаэксаныча), Андриюшиного репетитора. Педелем вызвано второе мое в жизни стихотворение:

¹² Плоскостопие (нем.).

Все бегут на сходку:
Сходка где? Сходка – где?
Сходка будет на дворе.

Педель, мнившийся мне огромным, выше всего этого двора, и забирающий студентов (Аркаэксанычей) свыше, огромной раскоряченной лапой, как Людоед – мальчиков-с-пальчиков. Людоед – но так как это *все-таки* университетский служитель – то весь в медалях. И, конечно, такой же один, как педали – две. Но, назвав педеля, не могу не упомянуть его словесной родни: пуделя, белого ученого Капи из «*Sans Famille*», который рвет педеля за *панталоны* – тогда педель Аркаэксаныча выпускает, – и их общей, педеля и педали, словесной родни, двоюродной сестры *падали*, той падали, которой пахнет – одну секунду – и каждый раз – и безумно сильно – в бузине, у самого подступа к нашей тарусской даче, падали, от детства и Тарусы такой родной и мной-самой, что каждый раз, как это слово слышу, – оборачиваюсь.

Но возвратимся на мой мученический табурет. Табурет был как все, должно быть, но я-то тогда не знала, что все такие, и даже не знала, что есть еще такие, это был *табурет*, вещь в доме без себе подобных, магическая, ибо из всех вещей именно она требовала, чтобы я сидела смирно, а сама – вертелась! На своей рубчатой шее, так напоминавшей оципанную индюшачью. Вывернешь ее до предела и ждешь не без волнения, что вот «голова», о слабнув, качнется и совсем

отвалится. Но помню и отвал другой головы – собственной, когда, вжавшись руками в сиденье и ногами помогая, обмирая от близящейся сладкой тошноты, не раз, не два, а весь винт ввысь и затем вниз – до отрыва головы, рвущейся с шеи, как шар с крутимой палки. «А-а-а! опять *завертелась!* – тихо вошедший и безмолвно наблюдавший Андрюша, с злорадством глядя на мое зеленое лицо. – Давай перочинный нож, а то маме скажу, как ты тут без нее своих Лебертов и Штарков играешь. (Пауза.) Дашь нож?» – «Нет». – «Так вот тебе Леберт! – Так вот тебе Штарк!» И, уверяю, удар был вовсе не *staccat*'ный.

Андрюша на рояле не учился, потому что был от другой матери, которая пела, и вытптло бы вроде измены: дом был начисто поделен на пенье (первый брак отца) и рояль (второй), которые иногда тарусскими поздними вечерами и полями в двухголосом пении, Валерии и нашей матери, – сливались. Но как сейчас слышу материнское сдавленно-исступленное «ох» в ответ на Валериино, часами, «подбирание» и «напевание», как сейчас вижу искажение всего ее лица и рук на каком-нибудь особенно-выразительном, при помощи педали, аккорде, или на особенно-высокой, при помощи полузакрытых глаз и вертикального подбородка, ноте, за которой вот-вот начнется тот ужасный безголосый сухо-горловой крик, сравнимый по нестерпимости только с внезапно ожившим и заигравшим под языком зубным нервом, – крик, за который можно убить.

Но, возвращаясь к совершенно непричемному, непевшему и неигравшему Андрюше: Андрюшиному роялю воспротивился сам его дед Иловайский, заявивший, что «Ивану Владимировичу в доме и так довольно музыки». Бедный Андрюша, затертый между двумя браками, двумя роками: пять мальчиков не учат, а рояль – *мейновское* (второженино). Бедный Андрюша, на которого не хватило – ушей? свободной клавиатуры? получаса времени? просто здравого смысла? чего? – всего и больше всего – слуха. Но вышло как по писаному: ни из Валерииных горловых полосканий, ни из моего душевного туше, ни из Асиных «тили-тили» – ничего не вышло, из всех наших дарований, мучений, учений – ничего. Вышло из Андрюши, отродясь не взятого на наш горделивый музыкальный корабль, попавшего в нашем доме в некое междумузыкальное пространство, чтобы было гостям и слугам, а может быть, и городовому за окном – на чем отдохнуть: на его немоте. Но по-особому вышло, и двойной запрет сбылся: ни петь, ни играть на рояле он не стал, но, из Андрюши став Андреем, сам, самоучкой, саморучно и самоушно, научился играть сначала на гармонике, потом на балалайке, потом на мандолине, потом на гитаре, подбирая по слуху – все, и не только сам научился, еще и Асю научил на балалайке, и с большим успехом, чем мать на рояле: играла громко и верно. И последней радостью матери была радость этому большому красивому, смущенно улыбающемуся неаполитанцу-пасынку (оставленному ею с гимназическим боб-

риком), с *ее* гитарой в руках, на которой он, присев на край ее смертной постели, смущенно и уверенно играл ей все песни, которые знал, а знал – все. Гитару свою она ему завещала, передала из рук в руки: «Ты так хорошо играешь, и тебе так идет...» И, кто знает, не пожалела ли она тогда, что *тогда* послушалась старого деда Иловайского и своего молодого второжениного такта, а не своего умного, безумного сердца, то есть забывши всех дедов и жен: ту, первую, себя, вторую, нашего с Асей музыкального деда и Андрюшиного исторического, не усадила: меня – за письменный стол, Асю – за геркулес, а Андрюшу – за рояль: «До, Андрюша, до, а это ре, до – ре...» (из которого у меня никогда ничего не вышло, кроме Dore, Gustav'a...).

Но замечаю, что я еще ничего не сказала о главном действующем лице моего детства – самом рояле. (Золотыми буквами «Бэккер» – Royale a queue.) Но рояль не один. В каждом играющем детстве: раз, два, три – четыре рояля. Во-первых – тот, за которым сидишь (томишься и так редко гордишься!). Во-вторых – тот, за которым сидят – мать сидит – значит: гордишься и наслаждаешься. Не «как сейчас вижу» – так сейчас уже не вижу! – как *тогда* вижу ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную, даже в письме и в игре отброшенную голову, на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч на выдвижных боковых досочках. И еще раз ту же голову – в одном из парных стоячих зальных зеркал, в зеркальной его вертикали над

рояльной горизонталью, ту же голову, но с невидимой нам стороны (тайна зеркала, усугубленная тайной профиля!) – в отвесном зеркальном пролете, отдаляющем ее от нас на всю непостижимость и недостижимость зеркала, голову матери, между свеч от зеркала делающуюся – почти елкой!

Третий и, может быть, самый долгий – тот, под которым сидишь: рояль изнизу, весь подводный, подрояльный мир. Подводный не только из-за музыки, лившей на голову: за нашим, между ним и окнами, заставленные его черной глыбой, отделенные и отраженные им как черным озером, стояли цветы, пальмы и филодендроны, подрояльный паркет превращавшие в настоящее водное дно, с зеленым, на лицах и на пальцах, светом, и настоящими корнями, которые можно было руками трогать, где как огромные чуда беззвучно двигались материнские ноги и педали.

Трезвый вопрос: почему цветы стояли за роялем? Чтобы неудобнее поливать? (С матери, при ее нраве, стало бы!) Но от этого соединения: рояльной воды и воды леечной, рук матери, играющих, и рук, поливающих, попеременно льющих то воду, то музыку, рояль для меня навсегда отождествлен с водою, с водой и зеленью: лиственным и водным шумом.

Это – материнские руки, а вот – материнские ноги. Ноги матери были отдельные живые существа, вне всякой связи с краем ее длинной черной юбки. Вижу их, вернее, одну, ту, что на педали, узкую, но большую, в черном, бескаблучном

башмаке на пуговках, которые мы зовем глазами мопса. Потому они и прюнелевые (*prunelle des yeux*¹³ – мопса). Нога черная, а педаль золотая, и почему это для матери она правая, а для меня левая? Как это она сразу – правая и левая? Ведь если бы нажать отсюда, то есть из-под рояля, лицом к коленям матери, она бы оказалась левой, то есть короткой (по звуку). Почему же у матери она выходит правая, то есть звук – тянет? А что, если я одновременно с материнской ногой нажму ее – рукой? Может быть, получится длинно-короткая? Но длинно-короткая значит никакая, значит – ничего не получится? Но тронуть ногу матери я не смею, это мне, собственно, и в голову не могло прийти.

«Еще доказательство твоей немзыкальности!» – восклицала мать после целого часа игры (из которой выходила потерянная, как пловец из слишком долгой и бурной воды, никого и ничего не узнавая), после часовой игры наконец обнаружившая, что мы весь час сидели под роялем: Ася – вырезая из картонного листа телесных девочек и их поштучное приданое, я – думая про правую и левую, а чаще ничего не думая, как в Оке. Андрюша под роялем скоро перестал сидеть; у него вдруг так выросли ноги, что он непременно попадал ими в ноги матери, которая тогда вставала и усаживала его за книги, которые он ненавидел, потому что ему только их и дарили – именно потому, что ненавидел, – для того, чтобы любил. И еще потому, что у него от чтения сразу шла кровь

¹³ Зрачки (*фр.*).

носом. Так что, из инстинкта самосохранения, под рояль не лез, а неподвижно сидел на своем штекенпферде¹⁴ в арке за-
лы, показывая нам с Асей кулаки и языки. «Музыкальное
ухо не может вынести такого грома! – уже гремела мать, со-
вершенно меня оглушая. – Ведь оглохнуть можно!» (Молча.
«Это-то мне и нравится!» Вслух же:) «Так лучше слышно!» –
«Лучше слышно! Барабанная перепонка треснуть может!» –
«А я, мама, ничего не слышала, честное слово! – торопливо и
хвастливо, Ася. – Я все думала про этот маленький, малень-
кий, ма-аленький зубчик!» – в полном чистосердечии суя ма-
тери под нос безукоризненной резки кукольные панталонные
фестоны. – «Как, ты вдобавок еще острыми ножницами ре-
зала! – мать, совсем сраженная. – Fraulein, где вы? Одной
лучше слышно, а другая ничего не слышала, и это дедуш-
кины внучки, мои дочери... О, господи!.. – И, замечая уже
дрожащие губы своей любимицы: – Асеньке – еще прости-
тельно... Асенька еще маленькая... Но ты, ты, которой на
Иоанна Богослова шесть лет стукнуло!»

Бедная мать, как я ее огорчала и как она никогда не узна-
ла, что вся моя «немузыкальность» была – всего лишь *дру-*
гая музыка!

Четвертый рояль: тот, над которым стоишь: глядишь и,
глядя,ходишь, и который, в постепенности годов, обратно
вхождению в реку и всякому закону глубины, тебе сначала
выше головы, потом по горло (и как начисто срезая голову

¹⁴ От нем. *Steckenpferde* – деревянная лошадка на палочке (нем.).

своим черным краем холодной ножа!), потом по грудь, а потом уже и по пояс. Глядишь и, глядя, глядишься, постепенно сводя сначала кончик носа, потом рот, потом лоб с его черным и твердым холодом. (Почему он такой глубокий и такой твердый? Такая вода и такой лед? Такой да и такой нет?) Но, кроме попытки войти в рояль лицом, была еще простая детская шалость: надышать, как на оконное стекло, и на матовом, уже сбегавшем серебряном овале дыхания успеть отпечатать нос и рот, которые: нос – выходит пяточком, а рот – совершенно распухшим, точно пчела всюду укусила! – в глубоких продольных полосках, как цветок, и вдвое короче, чем в жизни, и вдвое шире и который сразу исчезает, сливаясь с чернотой рояля, точно рояль мой рот – проглотил. А иногда я, за недостатком времени, с оглядкой на все выходы залы: в переднюю – раз, в столовую – два, в гостиную – три, в мезонин – четыре, откуда, из всех сразу, могла выйти мать, просто рояль целовала – для холода губ. Нет, можно войти дважды в ту же реку. И вот, с самого темного дна, идет на меня круглое пятилетнее пыльное лицо, без всякой улыбки, розовое даже сквозь черноту – вроде негра, окунутого в зарю, или розы – в чернильный пруд. Рояль был моим первым зеркалом, и первое мое, своего лица, осознание было сквозь черноту, переводением его на черноту, как на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, *оттуда* увидеть.

И наконец, последний рояль – тот, в который загляды-

ваешь: рояль нутра, нутро рояля, струнное его нутро, как всякое нутро-тайное, рояль Пандориного: «А что там внутри?» – тот, о котором Фет, во внятной только поэту и музыканту, потрясающей своей зрительностью строке:

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали...

Не те аллегорические «струны души», а настоящие, рукой мастера протянутые и которые рукой можно тронуть, проследить от серебряных закрепок до обутых в красный бархат молоточков, Hammerlein im Kammerlein¹⁵, чем-то – гримовских, чем-то гномовских. Рояль торжественных дней, карет, ротонд, Великого Созвездия Люстры, рояль больших четырехручных состязаний, римской квадриги – рояль! – редкостный его лик, когда он, поставленный дыбом крышкой, сразу обращался в арфу, а озерная его несомутимая гладь в струнную, бурей или богатырем низложенную изгородь Жар-Птицы – только задень, и что пойдет! Рояль, от которого утром, как от всякого ночного чуда, не оставалось ни следу!

Но чтобы ничего не обидеть в моем старом друге-не-друге: Notenpult, полный пюпитр, та изгородь из неживых цветов – между волей и мной, – черные деревянные лакированные цветы, в шмелиные, змеиные, малинные дни заменявшие мне, увы, цветы полевые! Нотный пюпитр, который

¹⁵ Молоточек в каморочке (нем.).

можно класть так, чтобы нотная тетрадь лежала, как в обмороке, – и ставить так, чтобы висела над тобой, как утес, ежесекундно грозя разразиться ужасающей клавишной кашей. Рояльный пюпитр с освободительным треском его окончательного закрытия.

И еще – сама фигура рояля, в детстве мнившаяся мне окаменелым звериным чудовищем, гиппопотамом, помнится, не из-за вида – я их никогда не видала! – а из-за звука, гиппопо (само тулово), а хвост – там. А потом, с переводом вещей на человеческое – пожилой мужской фигурой тридцатых годов: тучный, но *bien pris dans la taille*¹⁶, несмотря на громоздкость – грация, тот опытный, немолодой, непременно – фрачный танцор, которого девушки, только взглянув, предпочитают самому воздушному и военному. А еще лучше – дирижер! яркочерный, плавный, без лица, потому что всегда спиной, – и полный чар. Поставь рояль дыбом, и будет дирижер! И, оставив и танцора, и дирижера: ведь рояль только вблизи неповоротлив на вес – непомерен. Но отойди в глубину, положи между ним и собой все необходимое для звучания пространство, дай ему, как всякой большой вещи, *место стать собой*, и рояль выйдет не менее изящным, чем стрекоза в полете. Горы только на тебя давят, и единственная возможность их с себя снять – либо отойти, либо взойти. Взойди на рояль. Руками взойди. Как мать всходила.

Чтобы дать, хоть немножко, ее игру – три случая. Когда

¹⁶ Здесь: изящный (*фр.*).

мы с ней, в самый разгар ее первого туберкулезного приступа, приехали в Нерви, была уже ночь и играть нельзя было. Так мы и заснули, мы с Асей, не увидев моря, она – не испробовав рояля. Зато с утра она, совсем больная, всю дорогу лежавшая, сразу встала – и села. Через несколько минут – стук в дверь. На пороге черный сладкий брюнет в котелке. «Позвольте представиться: д-р Манжини. А вы, если не ошибаюсь, – синьора такая-то, моя будущая пациентка? (Речь шла на затрудненном французском.) Я проходил мимо и слышал вашу игру. И должен предупредить вас, что если вы будете так продолжать, вы не только сама сгорите, но весь наш Pension Russe – сожжете». И, с неизъяснимой усладой, уже по-итальянски: «Geniale... Geniale...» Играть он ей, конечно, надолго запретил.

Второй случай – уже на возвратном пути в Россию – умирать. Где-то, кажется в Мюнхене, она – все то же, куда бы мы ни прибывали, – только умывшись с дороги и даже не переодевшись, сразу пошла к роялю. И вот, видим с Асей, как какой-то мальчик, старше нас, должно быть, лет четырнадцати, ярко-розовый и весь отливающий волосьяным золотом, все подъезжает к ней на стуле, к ней: к ее рукам и кипящим из-под них звукам, пока, наконец, неловким движением, как совершенно сонный, не свалился ей под ноги вместе со стулом, то есть попросту – под рояль. Мать, ничего не замечавшая, тут сразу все поняла: без всякой улыбки помогла ему выбраться и, опустив ему на голову руку, тут же не

отводя ее, чуть погладила ему лоб, точно вчитываясь. (Сын Александр.) Нужно сказать, что из всех присутствующих, а присутствовали – все те же, куда бы мы ни прибывали, – *все*, никто не засмеялся. (Ибо мальчик так же просто – с тем же полуоткрытым ртом – и с тем же стулом – мог бы свалиться на горячую печь – или в львиный ров.) Мы же с Асей отродясь знали, что глупо смеяться, когда другой падает: ведь Наполеон – тоже упал! (Я даже, в своем максимализме, шла дальше: глупо, когда *не* падает. Идет и не падает – вот дурак!) Никогда не забуду своей матери с чужим мальчиком. Это был самый глубокий, за всю мою жизнь, *поклон*.

– Мама (это было ее последнее лето, последний месяц последнего лета) – почему у тебя «Wagum»¹⁷ выходит совсем по-другому?

– Wagum – «Wagum»? – пошутила с подушек мать. И, смывая с лица улыбку: – Вот когда вырастешь и оглянешься и спросишь себя, wagum все так вышло – как вышло, wagum ничего не вышло, не только у тебя, но у всех, кого ты любила, кого ты играла, – ничего ни у кого – тогда и сумеешь играть «Wagum». А пока – старайся.

Последнее – смертное. Июнь 1906 года. До Москвы не доехали, остановились на станции «Тарусская». Всю дорогу из Ялты в Тарусу мать переносили. («Села пассажирским, а доеду товарным», – шутила она.) На руках же посадили в тарантас. Но в дом она себя внести не дала. Встала и, отклонив

¹⁷ Почему (нем.).

поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной пелерине, которую пелериной заказала, чтобы не мерить рукавов.

– Ну посмотрим, куда я еще гожусь? – усмехаясь и явно – себе сказала она. Она села. Все стояли. И вот из-под отвычных уже рук – но мне еще не хочется называть вещи, это еще моя тайна с нею...

Это была ее последняя игра. Последние ее слова, в той, свежего соснового тесу, затемненной тем самым жасмином пристройке, были:

– Мне жалко только музыки и солнца.

После смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще учительницы. Но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней из страха и для ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого – всем было все равно, верней: только ей одной мое нестарание было бы страданием – а страх, страх исчез от сознания, что ей оттуда (меня всю) видней... что она мне меня – такую, как я есть, – простит?

Учительницы моих многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре ахать перестали, а потом уж и по-другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы – следы

материнских морей – во мне навсегда остались.

Жила бы мать дальше – я бы, наверное, кончила Консерваторию и вышла бы неплохим пианистом – ибо данные были. Но было другое: *заданное*, с музыкой несравненное и возвращающее ее на ее настоящее во мне место: общей музыкальности и «недюжинных» (как мало!) способностей.

Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать.

1934

Сказка матери

– Мама, кого ты больше любишь: меня или Мусю? Нет, не говори, что все равно, все равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-уточку больше, другого не меньше, но этого чу-уточку больше! Даю тебе честное слово, что я не обижусь (с победоносным взглядом на меня), – если – Мусю.

Всё, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное, я отлично знали – кого, и она только ждала убийственного для меня *слова*, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя и знала, что не дождусь.

– Кого – больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? – с явным замешательством (и явно оттягивая) – мать. – Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо...

– Да, – неуверенно и разочарованно Ася, проглотив уже *мой* победоносный взгляд. – А все-таки – кого? Ну, хоть чу-уточку, капельку, крошечку, точечку – больше?

– Жила-была мать, у нее были две дочки...

– Муся и я! – быстро перебила Ася. – Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася... Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла... и она, как мама, умела свертывать язык трубочкой, а Муся не умела, и вообще она была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тю-р-ная...

– Да, – подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях например, – две дочери, старшая и младшая.

– А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая и потом вышла замуж за генерала, Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, – возбужденно продолжала Ася, – а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

– Да, – подтвердила мать.

– А младшая потом *еще* вышла замуж за князя и за графа, и у нее было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик – одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая – в это время – так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку, и вот раз младшая едет в *ландо* и видит: такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кость, и – она была очень, очень добра! – ее пожалела: «Садись, собачка, в экипаж!», а та (с ненавистным на меня взглядом) – сразу влезла – и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у нее глаза не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые, особенно – и вдруг узнала, что это ее старшая, старая сестра, и разом выкинула ее из экипажа – и та разбилась на четыре части

вдребезги!

– Да, – снова подтвердила мать. – Отца у них не было, только мать.

– А отец умер – от диабета? Потому что слишком много ел сахара, да и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбир, шоколадов, ирисов и таких серебряных конфет со щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведет в могилу!

– При чем Захарьин, – внезапно очнулась мать, – это было давно, когда еще никакого Захарьина не было, и вообще никаких докторов.

– А слепая кишка была? Аппендицит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее все сыплется: разные кости, и рыбы хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти... Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у нее не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, все чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать и за это меня *страшно* ущипнула!

– Врешь! – от негодования и изумления прохрипела я. – Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала *мой* карандаш, с «Муся» чернилом.

– Ма-ама! – заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меня рейс. – А когда человек сказал да, а во рту – нет, то что же он сказал? Он ведь *два* сказал, да, мама? Он пополам

сказал? Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет?

– Кто куда пойдет? – спросила мать.

– В ад или в рай? Человек. Наполовину враный. В рай?

– Гм... – задумалась мать. – У нас – не знаю. У католиков на это есть чистилище.

– Я знаю! – торжествующе Ася. – Чистильщик Дик, который маленькому Лорду подарил красный футляр с подковами и лошадиными головами.

– И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала...

– А я знаю! – я, молниеносно. – Разбойник, это враг этой дамы, этой дамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, потому что он был очень злой, захотел еще убить одну из девочек, сначала двух...

– Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

– Сначала двух, но Бог ему запретил, тогда – одну...

– И я знаю *какую!* – Ася.

– Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно какую, и он только хотел сделать неприятность той даме – потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

– Может быть, – сказала мать, прислушиваясь, – но я этого и сама не знала.

– Потому что он был в нее *влюблен!* – торжествовала я, и уже безудержно: – И ему лучше было ее видеть в могиле, чем...

– Какие африканские страсти! – сказала мать. – Откуда это у тебя?

– Из Пушкина. Но я другому отдана, *но* буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из «Цыган».

– А по-моему, из «Курьера», который я тебе запретила читать.

– Нет, мама, в «Курьере» – совсем другое. В «Курьере» были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

– Мама, что такое молочная сестра? – спросила присмиревшая, подавленная моим превосходством Ася.

– Дочь кормилицы.

– А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

– Вот.

– Фу! – сказала Ася.

– А она, Ася, мама, не моя, правда, мама?

– Не твоя, – подтвердила мать. – Потому что Асю кормила я, а тебя – кормилица. Твоя молочная сестра – дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы – был сын. Она была цыганка и очень злая и страшно жадная, до того жадная, что, когда дедушка ей однажды вместо золотых серег подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в

паркет, что потом ничего не могли найти.

– А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? – спросила Ася.

– Ни одной, – ответила мать, – их мать кормила сама, поэтому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: «Выбрать я не могу и никогда не выберу Убей нас всех сразу». – «Нет, – сказал разбойник, – я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтобы ты вечно мучилась, что эту – *выбрала*, а ту... Ну, которую же?» – «Нет, – сказала мать. – Скорей *ты* умрешь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я – сама осужу одну из моих дочерей на смерть».

– А кого, мама, она все-таки больше жалела? – не вытерпела Ася. – Потому что одна была болезненная... плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило...

– Да! А когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку... и вообще под ее стулом всегда была помойка, – я, с ненавистью.

– Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: «Ну ррра-ди Бога, еще один кусочек: открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек!» Значит, мама ее – больше любила!

– Может быть... – честно сказала мать, – то есть больше – жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

– Мама, не забудь про аппендицит! – взволнованно, Ася. – Потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, – тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит – и она бы, наверное, умерла – но ночью приехал доктор Ярхо – из Москвы – и даже без шапки и без зонтика, – а шел даже град! – и он был совершенно мокрый. Это – правда – мама, *святой* человек?

– Святой, – убежденно сказала мать, – я святее не встречала. И притом – совершенно больной, и мог бы тогда простудиться, ведь *какая* гроза! И еще, бедный, тогда так упал перед самой дачей...

– Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор – да? А когда доктор заболит – кто его спасет? Просто – Бог?

– Всегда – Бог. И тогда тебя – Бог. Через доктора Ярхо.

– Мама, – я, устав слушать про Асю, – а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот – *пузо*? «Что, Муся, опять пузо болит?» Ведь это неприлично?

– *Непривычно*, – сказала мать. – Может быть, его в детстве так научили?.. Конечно, странно. Но с таким сердцем и всё позволено. И не то позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здоровье свечу.

– Мама, а что же те девочки, так и остались незарезанные? – после долгого общего молчания спросила Ася. – Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он так – ушел?

– Не ушел, – сказала мать. – Не ушел, а сказал ей следующее: «Зажжем в церкви две свечи, одна будет...»

– Муся! А другая – Ася!

– Нет, имен в этой сказке нет. «...Левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и...» Ну вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых...

– Мама! Одинаковых не бывает. Одна была все-таки чуточку, кро-охотку...

– Нет, Ася, – уже строго сказала мать, – я тебе говорю, совершенно одинаковые. «Сама зажигай», – сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла. И свечи стали гореть – ровно-ровно и даже как будто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи все горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи – как два близнеца. Бог их знает, сколько еще времени будут гореть. Тогда разбойник сказал: «Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придем сюда. Кто первый придет – другого будет ждать». Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

– А разбойник, мама, конечно, раньше прибежал? – Ася.

– Погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже – с двух разных сторон – разбойник слева, мать справа – потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла, – и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду, к церкви – а против

церкви – солнце вставало! – разбойник и мать. Открывают замок, входят в церковь, и —

– Одна свечка совсем сгорела: че-ерная! А другая еще чуточку... – взволнованно, Ася.

– Две черные, – трезво я. – Потому что, конечно, за целую ночь обе-две сгорели, но так как никто не видел, – то все опять сначала.

– Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, нисколько не сгорев, ни на столечко не сгорев... Как вчера поставили – так и стояли. И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли – неизвестно, но когда она опомнилась – разбойника не было – как и куда ушел – неизвестно. Не дождались его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и...

– Мама! Это был – разбойник! – закричала я. – Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога! Только – ужасно жаль.

– Что – жаль? – спросила мать.

– Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, – поплелся – ни с чем! – она, конечно... *я бы*, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нем женилась.

– Вышла бы за него замуж, – поправила мать. – Женятся – мужчины.

– Потому что она его и *вперед* любила, только она уже была

замужем, как Татьяна.

– Да, но ты совершенно забыла, что он убил ее мужа, – сказала мать взволнованно, – разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей...

– Нет, – сказала я. – Ей бы по ночам было бы очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой. И всякие звуки бы начались. И может быть, дети бы заболели... Тогда, мама, я бы сама стала отшельником и поселилась в канаве...

– А дети? – спросила мать глубоко-глубоко. – Разве можно бросить детей?

– Ну, *тогда*, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку!

1934

Отец и его музей

Музей Александра III

«Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в то же время отходила одна московская старушка. И, слушая колокола, сказала: «Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя». Состояние было небольшое: всего только двадцать тысяч. С этих-то двадцати старушкиных тысяч и начался музей». Вот в точности, слово в слово, постоянно, с детства мною слышанный рассказ моего отца, Ивана Владимировича Цветаева, о происхождении Музея изящных искусств имени императора Александра III.

Но мечта о музее началась раньше, намного раньше, в те времена, когда мой отец, сын бедного сельского священника села Талицы, Шуйского уезда, Владимирской губернии, откомандированный Киевским университетом за границу, двадцатишестилетним филологом впервые вступил ногой на римский камень. Но я ошибаюсь: в эту секунду создалось решение к бытию такого музея, мечта о музее началась, конечно, до Рима – еще в разливанных садах Киева, а может быть, еще и в глухих Талицах, Шуйского уезда, где он за *лучиной* изучал латынь и греческий. «Вот бы глазами взгля-

нуть!» Позже же, узрев: «Вот бы другие (такие же, как он, босоногие и «лучинные») могли глазами взглянуть!»

Мечта о русском музее скульптуры была, могу смело сказать, с отцом сорожденная. Год рождения моего отца – 1846 г.

* * *

Город Таруса, Калужской губернии. Дача «Песочная». (Старый барский дом исчезнувшего имения, пошедший под «дачу».) Дача Песочная в двух верстах от Тарусы, совсем одна, в лесу, на высоком берегу Оки, – с такими березами... Осень. Последние – ярко и мелко-розовые, безымянные, с чудным запахом, узнаваемые потом везде и всегда, – цветочки в колеях. Папа и мама уехали на Урал за мрамором для музея. Малолетняя Ася – бонне: «Августа Ивановна, а что такое – музей?» – «Это такой дом, где будут разный рыб и змей, засушенный». – «Зачем?» – «Чтоб студент мог учить». И, радуясь будущей учености «студента», а может быть, просто пользуясь отсутствием родителей, неожиданно раздражается ослепительным тирольским «йодль». Пишем папе и маме письма, пишу – я, неграмотная Ася рисует музеи и Уралы, на каждом Урале – по музею. «А вот еще Урал, а вот еще Урал, а вот еще Урал», – и, заведя от рвения язык почти за край щеки: «А вот еще музей, а вот еще музей, а вот еще музей...» Я же, с тоже высунутым языком, честно и мощно

вывожу: «Нашли ли мрамор для музея и крепкий ли? У нас в Тарусе тоже есть мрамор, только не крепкий...» Мысленно же: «Нашли ли для нас кота – и уральский ли? У нас в Тарусе тоже есть коты, только не уральские». Но написать, по кодексу нашего дома, не решаюсь.

В одно прекрасное утро вся дача Песочная заполняется кусками разноцветного камня: голубого, розового, лилового, с ручьями и реками, с целыми видами... Есть один – как ломоть ростбифа, а вот этот, пузырчатый, точно синий вскипевший кофе. На большой правильный квадрат белого, чуть серого, чуть мерцающего камня мы даже и не смотрим. Это-то и есть мрамор для музея. Но уральского кота, обещанного, родители не привезли.

* * *

Одно из первых моих впечатлений о музее – закладка. Слово – закладка, вошедшее в нашу жизнь, как многие другие слова, и утвердившееся в ней самостоятельно, вне смыслового наполнения, либо с иносмысловым. Мама и Лёра шьют платья к закладке. Дедушка приедет на закладку из Карлсбада. Дай Бог, чтобы в день закладки была хорошая погода. На закладке будет государь и обе государыни. В конце концов, кто-то из нас (не я, всегда отличавшаяся *обратным* любознательности, то есть абсолютным фатализмом): «Мама, а что такое закладка?» – «Будет молебен, потом государь

положит под камень монету, и музей будет заложен». – «А зачем монету?» – «На счастье». – «А потом ее опять возьмет?» – «Нет, оставит». – «Зачем?» – «Отстань». (Монету – под камень. Так мы в Тарусе хоронили птиц, заеденных Васькой. Сверху – крестик.) На закладку нас, конечно, не взяли, но день был сияющий, мама и Лёра поехали нарядные, и государь положил монету. Музей был заложен. Отец же три дня подряд напевал свой единственный за жизнь мотив: три первых такта какой-то арии Верди.

* * *

Первое мое видение музея – леса. По лесам – как птицы по жердям, как козы по уступам, в полной свободе, высоте, пустоте, в полном сне... «Да не скачи же ты так! Осторожней, коза!» Эту «козу» прошу запомнить, ибо она промелькнула и в моем последнем видении музея.

Мы с Асей впереди, взрослые – отец, мать, архитектор Клейн, еще какие-то господа – следом. Спокойно-радостный повествующий голос отца: «Здесь будет это, тут встанет то-то, отсюда – туда-то...» (Это «то-то», «туда-то» – где это отец все видит? А как ясно видит, даже рукой показывает!) Внизу, сквозь переплеты перекладин, – черная земля, вверху, сквозь те же переплеты, – голубое небо. Кажется, отсюда так легко упасть наверх, как вниз. Музейные леса. Мой первый отрыв от земли.

* * *

А вот другое видение. Во дворе будущего музея, в самый мороз, веселые черноокие люди перекатывают огромные, выше себя ростом, квадраты мрамора, похожие на гигантские куски сахара, под раскатистую речь, сплошь на *p*, крупную и громкую, как тот же мрамор. «А это итальянцы, они приехали из Италии, чтобы строить музей. Скажи им: «*Vuon giorno, come sta?*»¹⁸ В ответ на привет – зубы, белей всех сахаров и мраморов, в живой оправе благодарнейшей из улыбок. Годы (хочется сказать столетия) спустя, читая на листке почтовой бумаги посвященную мне О. Мандельштамом «Флоренцию в Москве», – я не вспомнила, а увидела тех итальянских каменщиков на Волхонке.

* * *

Слово «музей» мы, дети, неизменно слышали в окружении имен: великий князь Сергей Александрович, Нечаев-Мальцев, Роман Иванович Клейн и еще Гусев-Хрустальный. Первое понятно, ибо великий князь был покровителем искусств, архитектор Клейн понятно тоже (он же строил Драгомиловский мост через Москва-реку), но Нечаева-Мальце-

¹⁸ Доброе утро, как поживаете? (*ит.*)

ва и Гусева-Хрустального нужно объяснить. Нечаев-Мальцев был крупнейший хрустале-заводчик в городе Гусеве, поэтому и ставшем Хрустальным. Не знаю почему, по непосредственной ли любви к искусству или просто «для души» и даже для ее спасения (сознание *неправды* денег в русской душе невытравимо), – во всяком случае, под неустанным и страстным воздействием моего отца (можно сказать, что отец Мальцева обрабатывал, как те итальянцы – мрамор) Нечаев-Мальцев стал главным, широко говоря – единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец – духовным. (Даже такая шутка по Москве ходила: «Цветаев-Мальцев».)

Нечаев-Мальцев в Москве не жил, и мы в раннем детстве его никогда не видели, зато постоянно слышали. Для нас Нечаев-Мальцев был почти что обиходом. «Телеграмма от Нечаева-Мальцева». «Завтракать с Нечаевым-Мальцевым». – «Ехать к Нечаеву-Мальцеву в Петербург». Почти что обиходом и немножко канитферштаном, которого, прибавлю в скобках, ни один ребенок, к чести детства, не понимает в его настоящем юмористическом смысле, то есть именно в самом настоящем: человеческом (бедный, бедный Канитферштан!).

– Что мне делать с Нечаевым-Мальцевым? – жаловался отец матери после каждого из таких завтраков. – Опять всякие пулярды и устрицы... Да я устриц в рот не беру, не говоря уже о всяких шабли. Ну зачем мне, сыну сельского свя-

щенника, – устрицы? А заставляет, злодей, заставляет! «Нет уж, голубчик вы мой, соблаговолите!» Он, может быть, думает, что я – стесняюсь, что ли? Да какое стесняюсь, когда сердце разрывается от жалости: ведь на эту сторублевку – что можно для музея сделать! Из-за каждой дверной задвижки торгуется – что, да зачем, – а на чрево свое, на этих негодных устриц ста рублей не жалеет. Выкинутые деньги! Что бы мне – на музей! И завтра с ним завтракать, и послезавтра, так на целые пять сотен и назавтракаем. Хоть бы мне мою долю на руки выдал! Ведь самое обидное, что я *сам* музей обедаю...

С течением времени принципом моего отца с Нечаевым-Мальцевым стало – ставить его перед готовым фактом, то есть счетом. Расчет был верный: счет – надо платить, предложение – нужно отказывать. Счет для делового человека – судьба. Счет – рок. Просьба – полная свобода воли и даже простор своеволию. Все расстояние от: «Нельзя же *не*» до: «Раз можно *не*». Это мой отец, самый непрактичный из неделовых людей, учел. Так Нечаев-Мальцев кормил моего отца трюфелями, а отец Нечаева-Мальцева – счетами. И всегда к концу завтрака, под то самое насильное шабли. «Человек ему – *свой* счет, а я свой, свои...» – «И что же?» – «Ничего. Только помычал». Но, когда мой отец, увлекшись и забывшись, события (конец завтрака и свершившийся факт заказа) опережал: «А хорошо бы нам, Юрий Степанович, выписать из-за границы...» – настороженный жертвователь, не дав договорить: «Не могу. Разорен. Рабочие... Что вы меня

– вконец разорить хотите? Да это же какая-то прорва, наконец! Пусть государь дает, его же родителя – имени...» И чем меньше предполагалась затрата – тем окончательнее отказывался жертвователь. Так, некоторых пустяков он по старческому и миллионщикову упорству не утвердил никогда. Но когда в 1905 году его заводы стали, тем нанося ему несметные убытки, он ни рубля не урезал у музея. Нечаев-Мальцев на музей дал три миллиона, покойный государь триста тысяч. Эти цифры помню достоверно. Музей Александра III есть четырнадцатилетний бессребренный труд моего отца и три мальцевских, таких же бессребренных миллиона. Где те пуды цветаевско-мальцевской переписки, которую отец, чтобы дать заработать, дал одной из своих племянниц, круглолицей поповне и курсистке Тоне, переписывать от руки в огромный фолиант, который бедная Тоня, сопя и корпя и ничего не понимая (была медичка!), тоскливо называла «моя плешь»? Помню, что за трехмесячную работу девушка получила тридцать рублей. Таковы были цены. Но такова еще была особая – музейная! – бережливость отца. «И тридцать рублей заработает, и по крайней мере знать будет, что такое музей и как он строится. Лучше – чем с подружками чай распивать!»

Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать, Мария Александровна Цветаева, рожденная Мейн. Она вела всю его обширную иностранную переписку и, часто заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шуток или

лести (с французом), строкой из поэта (с англичанином), каким-нибудь вопросом о детях и саде (с немцем) – той человеческой нотой в деловом письме, личной – в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар – ничто. И, говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности, вхождения во все и выхождения из всего – победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, а когда нужно, и за него. Так, от дверных ручек упирающегося жертвователя до завитков колонн, музей – весь стоит на женском участии. Это я, детский свидетель тех лет, должна сказать, ибо за меня этого не скажет (ибо так глубоко не знает) – никто. Когда она в 1902 году заболела туберкулезом и выехала с младшими детьми за границу, ее участие не только не ослабло, но еще усугубилось – всей силой тоски. Из Москвы то в генуэзское Нерви, то в Лозанну, то во Фрейбург шли подробные отчеты о каждом вершковом приросте ширящегося и высящегося музея. (Так родители, радуясь, отмечают рост ребенка на двери и в дневнике.) И такие же из Нерви, Лозанны и т. д. любовные опросные листы. Когда позволяло здоровье, верней болезнь, она, по поручению отца, ездила по старым городкам Германии, с которой был особенно связан

мой отец, выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок, и улыбок. (А у делового немца добиться улыбки...) Не забывали и мы с Асей нашего гигантского младшего брата. В каждом письме – то из Лозанны, то из Фрейбурга, после описания какого-нибудь *tour du lac*¹⁹ или восхождения на очередной шварцвальдский холм, – приписка, сначала, по малолетству, совсем глупая: «Как Васька? Как музей?» – но со временем и более просвещенные. К одиннадцати годам и я втянулась в работу, а именно, когда мы все съезжались, писала отцу его немецкие письма. (Отец языки знал отлично, но, как самоучка, и пища и говоря, именно *переводил* с русского. Кроме итальянского, который знал как родной и на котором долгие годы молодости читал в Болонском университете.) Как сейчас помню «Hildesheimer Silberfund» и «Professor Freu»²⁰. Зато какое сияние гордости, когда в ответном письме за таким-то № в конце приписка: «Griissen Sie mir ihr lebenswtirdiges und pflichttreues Tochterlein»²¹.

Немецкую переписку отца я вела до самой его кончины (1913 г.).

Теперь расскажу о страшном его и матери, всех нас, горе, когда зимой 1904–1905 года сгорела часть коллекций музея (очевидно, та деревянная скульптура, которую и заказывали в Германии). Мне кажется, это было на Рождество, потому

¹⁹ Прогулка по озеру (*фр.*).

²⁰ «Гильдесгеймский серебряный клад» и «Профессор Фрой» (*нем.*).

²¹ Передайте от меня привет Вашей милой и добросовестной дочурке (*нем.*).

что отец был с нами во Фрейбурге. Телеграмма. Отец молча передает матери. Помню ее задохнувшийся, захлебнувшийся голос, без слов, кажется: «А-ах!» И отцовское – она тогда была уже очень больна – умиротворяющее, смиренное, бесконечно-разбитое: «Ничего. Даст Бог. Как-нибудь». (Телеграмма, сгоряча, была: музей горит.) И его безмолвные слезы, от которых мы с Асей, никогда не видевшие его плачущим, в каком-то ужасе отвернулись.

Мать до последней секунды помнила музей и, умирая, последним голосом, из последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и ее!) детища. Думаю, что не одних нас, выросшими, видела она предсмертным оком.

Говоря о матери, не могу не упомянуть ее отца, моего деда, Александра Даниловича Мейна, еще до старушкиных тысяч, до клейневского плана, до всякой зримости и осязаемости, в отцовскую мечту – поверившего, его в ней, уже совсем больным, неустанно поддерживавшего и оставившего на музей часть своего состояния. Так что спокойно могу сказать, что по-настоящему заложен был музей в доме моего деда, А.Д. Мейна, в Неопалимовском переулке, на Москве-реке. Все они умерли, и я должна сказать.

Август 1933

Лавровый венок

(Памяти проф. И.В. Цветаева)

Года за два до открытия музея отцу предложили переехать на казенную директорскую квартиру только что отстроенную. «Подумайте, Иван Владимирович, – соблазнила наша старая экономка Олимпиевна, – просторная, покойная, все комнаты в ряд, кухня тут же – и через двор носить не нужно, электричество – и ламп наливать не нужно, и ванна – и в баню ходить не нужно – все под рукой... А этот – сдать...» – «Сдать, сдать! – с неожиданным раздражением отозвался отец. – Я всю жизнь провел на высокой ноте! – И, уже самому себе, отъединенно: – В этом доме родились все мои дети... Сам тополя сажал... – И совсем уже тихо, почти неслышно, а для экономки и вовсе непонятно: – Я на это дело положил четырнадцать лет жизни... Зачем мне электричество?! А квартиру отдать семейным служащим, как раз четыре квартирki выйдут, отличные... Две комнаты и по кухне...» – Так и было сделано.

В эту же весну отец из Германии привез от себя музею – очередной подарок: машинку для стрижки газона. – «А таможне не платил, ни-ни. Упаковал ее в ящичек, сверху заложил книжками и поставил в ноги. – “А это что у вас здесь?” – “Это?” – “Греческие книжки”. – Ну, видят – профессор,

человек пожилой, одет скромно, врать не будет. Что такому и возить, как не греческие книжки! Не парфюмерию же. Так и провез без пошрины. Помилуйте! Да на пошрину вторую такую стрижку купить можно». (Никогда не забуду, как он на самосеянном газоне перед музеем – первый – ревниво, почтительно, старательно и неумело, ее пробовал.) Думаю, что это был единственный за жизнь противозаконный поступок моего отца. Впрочем, он для музея был готов на несравненно – большее, во всяком случае – больше. Сидит он у какой-нибудь москворецкой купчихи, потягивает чаек и улещает: – «Таким-то образом, матушка, всем и радость, и польза будет. А что племянник? Племянник все равно промотает». Старушка: – «Неужели?» – «Как Бог свят – промотает. Пропьет или в карты пропустит». Старушка, упавшим голосом: – «Пропустит». Отец: – «А покойник их небось по полтиннику собирал. Племянник пусть сам наработает. Я ведь тоже в детстве босиком бегал. . . » Помню, что таким способом, только на этот раз у старушки высокопоставленной, отец, в конце очень долгих концов, отстоял для музея прекрасный подлинник: мраморную голову императора Тита, которая и поныне украшает музей.

Отношение к строящемуся музею было разное. Помню известного московского педагога Вахтерова, в 1909 году говорившего мне, тогда – гимназистке: – «Зачем музей? Сейчас нужны лаборатории, а не музеи, родильные дома, а не музеи, городские школы, а не музеи. Ничего! Пусть строят! Придет

революция, и мы, вместо всех этих статуй, поставим койки. И парты. А что строят – ничего. Стены нам пригодятся». В общем, интеллигенция и молодежь относились равнодушно, и отец в своем деле (как каждый любящий – в своем!) был одинок. Но он этого не замечал – или миновал. Зато как же он радовался малейшему сочувствию, малейшему «музейному» вопросу, как охотно сам путеводил – шестидесятипятилетний старик и безумно занятый человек – наших сверстников, мальчишек и девчонок, сам показывая и рассказывая, обстоятельно отвечая на самые наивные вопросы. Убеждена, что не более ревностно – раз от всей души, значит, больше нельзя! – он потом показывал музей верхам России. Разница между путеводимыми тонула, и даже сгорала, в неизменности вдохновения. Усилить это вдохновение могло только чужое вдохновение. Оно редко – везде.

Не могу не рассказать об одном его путешествии. Поступил к нам дворник, прямо из деревни, – семнадцати лет, круглолицый, кареглазый, с щеками пышущими, как те печи, которые он так жарко и с таким жаром топил, – по имени Алексей, и, действительно, Божий человек, даже Божие дитя: не пил, не курил, только спал. Зато – спал непробудно.

И вот, это самое «Божие дитя», однажды, мне: – «Барышня, как бы мне посмотреть нашего барина заведение? Говорят, сам государь на освящение пожалует, так как бы мне уж заодно...» За утренним чаем я, отцу: – «Папа, ты не можешь показать Алексею музей?» – «С удовольствием. Кто

такой Алексей?» – «А это наш дворник. Он очень интересуется...» – «Гмм... навряд ли он... А впрочем, пусть посмотрит...» – За вечерним чаем того же дня: – «Водил, папа, Алексея?» – «А как же!» – «Ну, как?» – «Да видишь ли, как человек непросвещенный и даже придурковатый, он, завидев всех моих Гераклов и Венер, так застыдился – и даже испугался, что, представь себе, всю дорогу шел слепой. Да, да, да. Закрылся локтем и таким манером прошел по всему музею. – Да ты, Алексей, гляди! Сейчас ничего такого нет! – Куда там! Красный, как рак, взглянет на секунду из-под локтя и, как ошпаренный, опять зажмурится. Тут я его и отпустил». Утром Алексей приходит топить печку. – «Ну что, Алексей, понравился тебе музей?» – «Здание хорошее». – «Почему же ты все время шел слепой?» – Алексей, шепотом: – «Женщины голые...» – На кухне же объяснялся вольнее: – «Конечно, барину видней, и медали у них все, а я человек деревенский, а все – чудно! На старости лет, а чем занялись! Баб голых понаставили да мужиков! Да еще освящать задумали... Да поп – увидит – как плюнет! Музей!»

За какой-то срок до открытия музея в доме прошел слух, что отцу «за музей» дают «почетного опекуна». Слух подтвердился, и начались разговоры о мундире. – «Шить настоящим золотом, – говорил отец сокрушенно, – и подумать страшно, во что это золото обойдется...» – «Ничего, папа, не подделаешь! Дали опекуна – давай мундир!» – «Я не против мундира, но есть мундир и мундир... Зачем мне, ста-

рому человеку, золото?» – «Папа, но это форма!» – «Знаю, знаю, но когда подумаешь, что на этот мундир такого же, как я когда-то, босоногого, – в Рим отправить можно... Семьсот целковых! (И, уже с улыбкой:) – Да весь опекун того не стоит!» – Мундир, конечно, был сшит. Был в нашем зале впервые надет и обозрен. Чудесный, древесный, весь в каких-то цветочках. – «Папа, не огорчайся! Ведь это же для музея!» (С доброй улыбкой, но все же со вздохом:) – «Вот, разве уж, для музея!» – Сшили отцу мундир, стали шить дочерям платья («дамы в белых городских, закрытых»). Нечего говорить, что отец за материей отправился сам – в какой-то свой магазин, «к одному моему знакомцу, с которым я уже тридцать лет торгуюсь...» – «Материю нужно, прежде всего, прочную, – музей открывается раз, а белое платье всегда пригодится, а фасоном советую шить самым простым, две прямые полы, например, и схватить лентой, а сзади пустим клин». (В спасительность клина во всех дамских туалетах отец верил свято.) Шила нам наша вечная Олимпиаевна, по призванию домашняя портниха. Нечего говорить, что отец на всех примерках присутствовал. – «Только не обтягивайте, Александра Олимпиаевна, не обтягивайте! Материи за глаза, а Марина и так худая – уж не знаю с чего, – чтоб не вышло, как кость. Припустите, припустите!» Олимпиаевна же, во всем с отцом соглашаясь, под машинный шумок, шила по-своему, то есть по-нашему. Самое трогательное, что, когда отец увидел нас в готовом, то есть, по существу, для

него неузнаваемом, он, гордясь и восхищаясь, свой покррой и клин узнал!

Поверят мне или нет, если скажу, что отец несколько вечеров до открытия музея, в нашей бывшей детской, сам, самолично, учил нас с Асей делать придворный реверанс?! – «Я сколько раз видал на приемах и отлично знаю. (Приподымая полы пиджака и приседая:) – Ногу за ногу, колено согнуть, в талии согнуться, застыть – и... нет, уж, пожалуйста, без козых скачков! – *вот так*. Конечно, ваша мама вам бы лучше показала...»

– «Говорила я вам, не спешите замуж, – нашептывала Олимпиаевна, выдергивая последнюю наметку, – пригодится вам ваше девичество... Вот и вышло по-моему. Были бы барышнями – были бы сейчас фрейлинами, каждый день бы видели государя с государыней. А то – вышли замуж за мальчишек!» – «Александра Олимпиаевна!» – «А я бы на вас шила – все такое тонкое, воздушное, девическое, придворное... А вот теперь за гимназистами-то замужем, всю жизнь и будете ходить в простом суконном... Эх!»

За день до открытия музея, рано утром, за отцом из музея спешно приехал курьер. – «Что такое?» – «Не могу знать, только просили поскорее и во всем обычном...» – Отец сразу отправился. Вернулся довольно скоро. – «Зачем вызывали?» – «А показать молодой государыне музей». – «Одной?» – «Да. Она, бедняжка, страдает нервами, не выносит скопления людей, вот и решила посмотреть заранее». – «Как

же это было?» – «Слуга вез кресло на колесах, я шел рядом». – «Она что-нибудь спрашивала?» – «Нет, ничего. Так и проехали молча по всем залам». – «И даже не сказала, что понравилось?» – «Нет. Она, должно быть, бедняжка, совсем больная: лихорадочные щеки, взгляд отсутствующий... Я сначала, было, называл залы, а потом и перестал: вижу – не до меня. Ни разу не взглянула ни направо, ни налево, так и проглядела в одну точку. Но под конец все-таки сказала: – «Благодарю вас, профессор»... Бедная женщина! Бедная женщина!»

Так это у меня и осталось, невиданным мною видением: в ранний час утра, в катящемся кресле, по пустым залам, между белых статуй...

В день открытия музея – майский, синий и жаркий – рано утром – звонок. Звонок – и венок – лавровый! Это наша старая семейная приятельница, обрусевшая неаполитанка, приехала поздравить отца с великим днем. Никогда не забуду. Отец в старом халате, перед ним седая огнеокая красавица, между ними венки, который та упорно старается, а тот никак не дает надеть. Мягко и твердо отбиваясь: – «Помилуйте, голубушка! Старый профессор в халате – и вдруг венки! Это вам нужно надеть, увенчать красоту! Нет уж, голубушка, увольте! Сердечно вам благодарен, только разрешите мне этот венки... Экая вы, однако, приткая!» Итальянка, сверкая глазами и слезами, а венки для верности над головой отца придерживая: – «От лица моей родины... Здесь не уме-

ют чтить великих людей... Иван Владимирович, вы сделали великое дело!» – «Полноте, полноте, голубка, что вы меня конфузите! Просто осуществил свою давнишнюю мечту. Бог дал – и люди помогли».

Вторым подарком был наш, детский, на него и был положен венок, ибо это был – поднос. Подарок не такой бездарный, как может показаться сразу. Во-первых, папа постоянно пьет чай у себя в кабинете. Во-вторых, пока что, на подносе будут лежать визитные карточки всех предстоящих посетителей. (Усердная Олимпиаевна: – «Письма буду носить Ивану Владимировичу на серебряном подносе, как графу или князю! Чем он хуже! (и, уже начало легенды): Сам царицу в кресле катал!») В-третьих, и в-главных: есть место для даты, а дата – всё. Поднос поднесен, и опять извечный припев: – «Зачем мне, старому человеку, серебряный поднос? Это вам с Асей нужно, вы теперь замужем, гостей принимать будете... Спасибо, спасибо. Прекрасный поднос, массивный, хлебниковский... Только жаль, что так на меня потратились...»

Никогда не забуду: под первым лучом того майского солнца, в белом зале, на ломберном столике, на серебряном подносе – лавровый венок.

Сентябрь 1933

Открытие музея

Белое видение музея на щедрой синеве неба. По сторонам входа двойные ряды лицеистов, от долгого стояния прислонившихся ряд к ряду спинами и тем каждую шеренгу являющих многолико-двуликим – но каким младоликим! – Янусом. Первое при входе – старик в долго-полой шубе (май!). «А где тут у вас раздеваются?» – «Пожалуйста, ваше превосходительство». – «А номера даете? А то шуба-то небось бобровая, как бы при торжестве-то...» Тесть моего отца, древний историк И<ловайский>.

Белое видение лестницы, владычествующей над всем и всеми. У правого крыла – как страж – в нечеловеческий и даже не в божественный: в героический рост – микеланджеловский Давид. Гости, в ожидании государя, разбредаются по залам. Вдруг – звон, грохот, испуг, отскок, серебряные осколки и потоки: это восемнадцатилетний зять моего отца задел поднос с кавказскими водами, побежавшими и засверкавшими, как породившие их источники. Старички, удостоверившись, что не бомба, успокаиваются.

Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвин, ни груди без звезды. Мой брат и муж здесь единственно-молодые. Группа молодых великих князей не в счет, ибо это именно группа: мраморный барельеф. Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон

вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время делает с людьми, вот что – с богами. Вот что *время* делает с человеком, вот что (взгляд на статуи) – с человеком делает *искусство*. И, последний урок: вот что время делает с человеком, вот что человек делает со временем. Но я об этом, по молодости лет, не думаю, я только чувствую жуть.

Старость, в ее главной примете: обесцвеченность, пересиливает даже удар, по глазам, золота, ибо вся эта старость залита золотом: чем старше, тем золоче, чем дряхлее – тем блестятельнее, чем тусклее око – тем ослепительнее грудь. То же статуи, но иным. Если великокняжеское юношество статуи по форме: живой мрамор, сановники – статуи по материалу: гипсу Rigidite²² (русского точного слова нет) старых, полых, заполненных смертной известью костей. Никогда не забуду, как один такой старичок, споткнувшись на лестнице, так и остался лежать, только ворочая головой, пока мой муж, сбежав к нему сверху, осторожно, но настойчиво не поставил его на ноги – как куклу. Сказав «кукла», я назвала дам. Белые, одинаковые, с одинаково-длинными шеями, особенно длинные от высоких, стягивающих горло воротников, в одинаково-высоких корсетах, с одинаково-высокими «подъездами» причесок, может быть, молодые, может быть, старые, если и молодые, так старые, не старые-пожилые – какого-то возраста, которого нет в жизни, собирательного

²² Одеревенелость (*фр.*).

возраста, создаваемого днем, местом и туалетом – а может быть, и ровным верхним рассеянным фотографическим стереоскопическим музейным светом... Куклы во всей торжественности, устрашительности и притягательности этой во все не детской вещи. Тройная белизна: стен, седин, дам – только фон, только берега этому золотому, неустанно ползущему старческому Пактолу галунов и орденов. И еще одно разительное противоречие: между новизной здания – и бесконечной ветхостью зрителя, между нетронутостью полов и бесконечной изношенностью идущих по ним ног. Видения (статуи), привидения (сановники), сновидения (тот живой мраморный цветник) и куклы... Смело скажу, что статуи в тот первый день музейного бытия казались живее людей, не только казались, но – были, ибо каждую из них, с живой заботой отлитую мастером, со всей заботой живой любви собственноручно вынимал из стружек мой отец, каждую, с помощью таких же любящих, приученных к любви простых рук, устанавливал на уготованном ей месте, на каждую, отступив: «Хороша!» Этих же сановников и дам, казалось, никто уже, а может быть, и никто никогда не любил, как и они – никого и ничего... Настоящий музей, во всем холоде этого слова, был не вокруг, а в них, был – они, были – они. Но стой: что-то живое! Среди общего белого дамского облака совершенно неожиданно и даже невероятно – совершенно отдельная, самостоятельная *рябая* юбка! Именно юбка, над которой блузка «с напуском». Закоренелая «шестидесятни-

ца»? Обедневшая знатная? Нет, богатейшая и консервативнейшая жена консервативнейшего из историков, консерватизм свой распространившая и на сундуки, то есть решившая, вопреки предписанию («дамы в белых городских закрытых»), лишние пять аршин белого фая – сохранить. И в удовлетворении выполненного долга, в зачарованном кругу одиночества своей рябой юбки, еще выше возносит свою тщательно прибранную, надменную, молодую еще головку маркизы с двумя природными *assochesoeur*'а-ми²³. И так сильно во мне тяготение ко всякому одинокому мужеству, что, отлично зная мутные источники этого, не могу – люблюсь! Но церемониймейстер не любитесь. Кидая быстрые и частые взгляды на оскорбляющий его предмет и явно озабоченный, куда бы его и как бы его подальше убрать, он забывает о нем только под наплывом другой заботы: никто не становится в ряд, кроме купеческих старшин с бородами и с медалями, как вошедших – так выстроившихся. «Господа, Mesdames... Их величества сейчас будут... Прошу... Прошу... Дамы – направо, господа – налево...» Но никто его не слушает. Слушают грузного, массивного, с умным лицом, сановника, который с плавными и вескими жестами что-то говорит – одному – для всех (Витте). Старшины глядят на Белого Орла на Нечаеве-Мальцеве, полученного им «за мужей». «Господа... Господа... Прошу... Их величества...»

Все мы уже наверху, в том зале, где будет молебен. Крас-

²³ Локонами на висках (*фр.*).

ная дорожка для царя, по которой ноги *сами* не идут. Духовенство в сборе. Ждем. И что-то близится, что-то, должно быть, сейчас будет, потому что на лицах, подобием волны, волнение, в тусклых глазах – трепет, точно от быстро пронесимых свеч. «Сейчас будут... Приехали... Идут!.. Идут!..» «И как по мановению жезла» – выражение здесь не только уместное, но незаменимое – сами, само – дамы вправо, мужчины влево, красная дорожка – одна, и ясно, что по ней сейчас пойдет, пройдет...

Бодрым ровным скорым шагом, с добрым радостным выражением больших голубых глаз, вот-вот готовых рассмеяться, и вдруг – взгляд – прямо на меня, в мои. В эту секунду я эти глаза увидела: не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские.

Глубокий *plongeon*²⁴ дам, живое и плавное опускание волны. За государем – ни наследника, ни государыни нет —

Сонм белых девочек... Раз... две... четыре...

Сонм белых девочек? Да нет – в эфире

Сонм белых бабочек? Прелестный сонм

Великих маленьких княжен...

Идут непринужденно и так же быстро, как отец, кивая и улыбаясь направо и налево... Младшие с распущенными волосами, у одной над высокими бровками золотая челка. Все

²⁴ Ныряние (*фр.*).

в одинаковых, больших, с изогнутыми полями, мелкодонных белых шляпах, тоже бабочек! вот-вот готовы улететь... За детьми, тоже кивая и тоже улыбаясь, тоже в белом, но не спеша уже, с обаятельной улыбкой на фарфоровом лице государыня Мария Федоровна. Прошли. Наша живая стена распрямляется.

Благослови, владыко!

* * *

Молебен кончен. Вот государь говорит с отцом, открытие музеяи отец, как всегда, чуть склонив голову набок, отвечает. Вот государь, оглянувшись на дочерей, улыбнулся. Улыбнулись оба. Церемониймейстер подводит государыне Марии Федоровне московских дам. Нырок, кивок. Нырок, кивок. В этих нырках что-то подводное. Так водоросли ныряют на дне Китежа... Государь, сопровождаемый отцом, последовал дальше, за ним, как по волшебной дудке Крысолова, галуны, медали, ордена...

Воздух, после молебна, разреженнее.оборот некоторых голов на статуи. Называют имена богов и богинь... Одобрительные возгласы...

Старая отцова поклонница, обрусевшая итальянка, все время скромно державшаяся в тени, – если можно сказать «тень» о месте, где все свет, – выступив и, с отчаянием великих решений, схватив отца за рукав: «Иван Владимирович,

вы должны выйти!» И, как заклинательница, трижды: «Выйти – и встать, выйти и встать, выйти и встать!» И, странно, без малейшего спору, точно не прослышав смысла слов и повинуясь только интонации, мой отец, как в глубоком сне, вышел и встал. Чуть склонив набок свою небольшую седую круглую голову – как всегда, когда читал или слушал (в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее), явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела. Это было видение совершенного покоя.

* * *

– Папа, а что государь с тобой говорил? – «А скажите, профессор, что за красивая зала, где мы слушали молебен, такая светлая, просторная?» – «Греческий дворик, Ваше Величество». – «А почему он, собственно, греческий, когда все здесь греческое?» Ну, я начинаю объяснять, а государь дочерям: «Марья! Настасья! Идите сюда и слушайте, что говорит профессор!» Тут я ему: – «Помилуйте, Ваше Величество, разве таким козам может быть интересно, что говорит старый профессор?..»

– Папа, а на меня государь посмотрел! – Так на тебя и посмотрел? – Честное слово! – Отец философски: – Все может быть, нужно же куда-нибудь смотреть. – И перенося взгляд

с меня на последний портрет матери, где она так похожа на Байрона: – Вот и открыл Музей.

И оглядываясь еще дальше – на другого путеводного женского гения, со всей силой творческой и старческой благодарности:

– Думала ли красавица, меценатка, европейски-известная умница, воспетая поэтами и прославленная художниками, княгиня Зинаида Волконская, что ее мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до двенадцати лет и сапогов-то не видал...

1933

Отец и его музей

I Шарлоттенбург²⁵

Мне скоро шестнадцать, Асе – четырнадцать. Три года тому назад умерла наша мать.

Шарлоттенбург близ Берлина. Знойное время дня и года. Водопады, потоки, обвалы солнца. Устрашающая девическая мода тех лет: длинные юбки, длинные рукава, тиски обшлагов и пройм, капканы воротников. Не платья – тюрьмы! Черные чулки, черные башмаки. *Ноги* черные!

– Папа, долго еще!

Шагаем уже добрых полчаса, а час ходьбы с отцом стоит целого дня с иным скороходом.

– Скоро, скоро, еще минут пятнадцать-двадцать, не больше!

Отец мой – страстный, вернее – отчаянный, еще вернее – *естественный* ходок, ибо шагает – как дышит, не осознавая самого *действия*. Перестать ходить для него то же, что для другого – перестать дышать. Мы с сестрой, пыхтя, следуем. Идем гуськом – отец впереди, за ним – я, за мной – Ася.

«Городок Шарлотты» (какой-нибудь «Великой», должно быть, раз назван ее именем) – Шарлоттенбург вымер начи-

²⁵ Перевод А. Эфрон.

сто. Ставни закрыты. Вокруг – ни собаки. Единственные собаки на улице – мы. Сказала: «закрытые ставни». А есть ли они вообще? Ставни? Дома? – Не знаю и знать не могу, так как иду, не поднимая головы, загнипнотизированная движением собственных черных ног по белой мостовой.

– Папа, скоро? – это опять Ася спрашивает, я же, из гордости врожденного пешехода – и прочих своих гордостей, – молчу.

Шесть черных башмаков по белой мостовой.

Два впереди, два вслед, два замыкающих.

Но не может же так длиться вечно! Надо что-то придумать. И – придумываю. Все это – только сон. Я сплю. Потому что такой жары – до седьмого пота, такого раскаленного света, словом, такого *ужаса* просто *не может быть*. И поскольку любому, даже самому долгому сновидению срок – три минуты, не более, значит, я не успела устать. Даже во сне.

Стоило лишь убедиться – усталости как не бывало.

И – голос отца:

– Вот мы и пришли.

Громадная, если не бесконечная, Gipsabgiisserei: склады гипсовых слепков с мраморных подлинников.

Статуи, статуи, статуи.

– Вы у меня молодцы, шли – не ныли, – говорит отец, вытирая лоб, – в награду дарю каждой по слепку, пока мы тут побеседуем с господином директором. Будьте умницами, мы

недолго.

Итак, мы с Асей одни в зачарованной стране, одни – странно-черноногие среди всех этих застывших, бело-и голоногих. Начинаем поиски, от статуи к статуе, от торса к торсу, от головы к голове. По правде сказать, я не очень люблю скульптуру. Вот если бы отец предложил мне вместо двух слепков на выбор две книги, я бы тотчас назвала с десятков самых вожаделенных. Но – делать нечего. Постараемся хотя бы напасть на что-нибудь не слишком статуйное.

Расходимся в разные стороны, чтобы, упаси господи, не выбрать одно и то же. Время от времени, как в лесу за грибами:

– Ау-у! Нашла?

– Нет еще, а ты?

– И я нет.

– Ты меня видишь?

– Вижу!

– Ты где?

– Здесь!

Игра в прятки среди статуй. Наконец вопль Аси:

– Есть! Кажется, мальчик!

Полная ревнивого любопытства, я бы помчалась на ее голос, но не очень-то тут помчишься. Пробираюсь, даже протискиваюсь.

Действительно, мальчик. Наш сверстник, даже, пожалуй, моложе – и с нашей челкой на лбу. Не статуя, не торс – го-

лова.

– Нравится?

– Для тебя – да, для себя – нет.

Не успеваю скрыться в дебрях человеческих окаменелостей, как снова – зов.

– Еще нашла! Опять мальчик!

Подхожу и, взглядевшись:

– Никакой это не мальчик.

– Мальчик!

– Говорю тебе – не мальчик.

– Ну, знаешь, ты с ума сошла, если считаешь *это* – девочкой!

– А я и не говорю, что девочка. Скорее – ангел.

– А крылья?

– Значит – греческий ангел. Или римский. Во всяком случае – не человеческий мальчик.

– Человеческий – не человеческий, зато у меня их два, а у тебя – ничего.

И правда – ничего. Потому, что хочу чего-то очень *своего*, не выбранного, а полюбленного с первого взгляда, *предначертанного*. Что не менее трудно, чем найти жениха.

Ах, если бы здесь была голова Бонапарта! Я давно бы схватила ее, притиснула бы к груди – но он родился куда позже Греции и Рима! Ну а Цезаря мне не нужно; Марка Аврелия тоже.

Остается продолжать поиски среди женщин.

И – вот она! Вот – отброшенная к плечу голова, скрученные мукой брови, не рот, а – крик. Живое лицо меж всех этих бездушных красот!

Кто она? – Не знаю. Знаю одно – *моя!* И так как столь же *моего* мне больше не найти, и так как мне ничего (никого!), кроме нее, не нужно – не раздумывая присоединяю к ней некую благодетельную и туповатую девицу с чем-то вроде шарфика на волосах – первую попавшуюся!

Найдя – прогуливаемся.

– Конфетку хочешь?

– Давай!

В моих, уже слипшихся, пальцах капелькой крови – кислый русский леденец, носящий французское – времен их эмиграции? – название «монпансье». Переглядываемся и – одним и тем же молниеносным движением вталкиваем: Ася – зеленую, я – красную конфету в разверстые пасти: Льва – (Ася), Героя – (я).

До чего же этот изумруд и этот гранат оживляют белизну гипсовых языков!

Сестра, засунув руку поглубже:

– Знаешь, у них нет глотки. Совсем. Там, внутри, – тупик!
(Голос отца: «Ася, Муся!» – «Сейчас, папа!»)

– Надо их вынуть!

– Нет, оставим!

– Но что директор подумает?

– Он и не увидит: у него очки. Да если и увидит – никогда

не поверит, что дочери нашего отца...

– А если и поверит, то никогда не решится сказать...

– А если и решится, то не успеет...

– ...Ну как, выбрали?

О, ужас! Папа с директором направляются в нашу сторону!

– Нашли себе что-нибудь по вкусу, милые барышни? (Директор.)

– Вот это – и это – и это – и это.

– Сразу видно, что вы – дочери своего отца! (Одобрительно-но:) Донателло – и – (забыла имя) – и Амазонка – и Аспазия. Прекрасный, прекрасный выбор! Разрешите мне, уважаемый профессор, преподнести эти слепки вашим дочкам!

Итак, моя любовь с первого взгляда – Амазонка! Возлюбленный враг Ахиллеса, убитая им и им оплаканная, а та, другая, благонравная, моя «первая попавшаяся» – не кто иной, как *Аспазия!*

– Поблагодарите же господина директора за чудесный подарок!

Благодарим. Но истинную нашу благодарность господин директор обнаружит несколько погодя – в разинутых пастях Героя и Льва.

Довольные, покидаем заколдованное царство.

– А теперь пойдем выпьем пива, – говорит отец.

II Машинка для стрижки газона²⁶

И вот из одной такой поездки по хозяйственным делам он и привез машинку для стрижки газона, собственноручно разбитого им на лужайке перед главным входом.

– Это тебе, это – Асе, это – Андрею, а это – для Музея.

«Это» было как раз той самой машинкой для стрижки газона: тяжелая, сверкающая и внушающая уважение садовая игрушка, которую он осторожно вынул из небольшого ящика, трижды обвязанного веревкою.

– Ну как, хороша?

– Великолепна!

– Догадайтесь, сколько я за нее уплатил?

– Сто марок?

Отец рассмеялся:

– Ровно вдвое меньше.

– А сколько заплатил на таможне?

– Нисколько.

– То есть как?

– Да так. Я прихватил ее с собой в вагон. «А что это у вас в ящике, господин профессор?» – «Греческие книги, дружок, греческие книги». – «А! Господин преподает греческий?» – «В Московском университете, дружок, вот уже тридцать лет». – «Должно быть, очень трудный язык!» – «Да

²⁶ Перевод Р. Родиной.

нет, не очень, нужно только терпение, вот и все». – «Я бы очень гордился собой, если б умел читать на греческом!» Не прошло и двух минут, как я преподал ему урок греческого языка, прямо тут, на границе. Славный человек! Короче говоря, мы расстались лучшими друзьями.

– Да, а если б он все-таки попросил тебя открыть ящик?

– Я бы сказал, что для меня это полная неожиданность, что букинист все напутал... Но риску никакого не было: взгляни на меня – похож ли я на типа, который мог бы прятать в ящике что-нибудь другое, кроме греческих книг?

Нет, решительно нет – отец выглядел именно тем, кем он был: самым честным из людей – потому и сомнений быть никаких не могло...

Только благодаря таким хитростям и попадают в Царство Небесное.

III Мундир²⁷

Для отца моего новая одежда была не радостью, а горем, если не катастрофой.

– Папа, пора тебе сшить костюм. Твой ведь...

– Еще годится. Крепкий и без единой дырки.

– Но цвет...

– Не может быть иным после пятилетней носки. Доживешь до моих лет – узнаешь, что такой срок и нас не укра-

²⁷ Перевод А. Эфрон.

шает.

– А все же, папа, почему бы тебе не заказать новый костюм?

– Зачем, когда мне и этот хорош? А если другим не нравится, пусть не смотрят. И вообще – кто будет по одежде встречать и провожать старого профессора?

На следующий день окликает на лестнице моего брата:

– Андрей, слушай, Андрей, не помнишь ли адреса моего приятеля – портного Володина? Я все же решил его перелицевать.

– Что?!

– Пиджак перелицевать.

– Купи себе лучше новый!

– Купи, купи... Это ты привык, с колыбели нужды не знаешь. А я учился на медные деньги и не привык бросаться тем, что еще может послужить.

Поймите меня: это не было скупостью.

Вернее – *было*. Скупостью в *превосходной* степени.

Скупость сына бедных родителей, стеснявшегося тратить на себя то, чего не могли на себя тратить они, трудившиеся до последнего вздоха.

Итак – скупость, являющая собой сыновнее уважение.

Скупость бывшего нищего студента, чьи нынешние траты как бы наносили ущерб нынешним нищим студентам.

Итак – верность своей юности.

Скупость земледельца, знающего, с каким трудом земля

родит деньги.

Итак – верность земле.

Скупость аскета, которому *все* лишнее для себя – тела и *всего* слишком мало для себя – духа; аскета, сделавшего выбор между вещью и сутью.

Скупость каждого, *делом* занятого человека, знающего, что любая трата – прежде всего трата времени.

Итак – скупость: экономия времени.

Скупость каждого, живущего духовной жизнью и которому просто *ничего не нужно*. (Отрешенность Льва Толстого от всех благ земных была не «фантазией», а *потребностью*, ибо писателю куда сложнее управлять имуществом, чем раздавать его. Ибо обыкновенный некрашеный стол нужнее полированного письменного, со множеством ящиков, наполненных лишними вещами, захламляющими в первую очередь голову. Приверженность Вагнера к роскошным декорациям жизни всегда была для меня загадкой большей, чем его гений.)

Итак, скупость: духовность.

(Все эти скупости недаром мне ведомы – я их унаследовала от отца, среди многого иного! Выиграй я завтра миллион, я купила бы себе не норковое манто, а честную шубу на овчине, самой простой выделки, как все наши крестьянки носили. Овчина – *не* каракуль. Теплая, без сносу, не вызывающая ни зависти, ни неловкости, ни угрызений.)

Скупость дающего, наконец: быть скупым, чтобы мочь

раздаривать.

Ибо раздаривал он до последнего вздоха, ибо последний вздох его был актом отдачи, сожалением, что не хватило еще нескольких лет жизни для перестройки – на собственный счет, на тройной свой оклад профессора, директора и почетного опекуна – музейных колонн, показавшихся критикам слишком тонкими по отношению к высоте.

...А сколько бедных студентов, бедных ученых, бедных родственников поддерживал он!

Но заметим себе: щедрость его была расчетлива в мелочах; вручая, например, студенту двести рублей на поездку в Италию, он не забывал уточнить: «А до вокзала отправляйся на трамвае, это в десять раз скорее и в десять раз дешевле, чем на извозчике: там пятак, а тут полтинник!»

Главный удар по отцовской «скупости» был нанесен мундиром. Мундиром «Почетного опекуна» (звание, полученное за создание музея). Мундиром, которого нельзя перелицевать, раз он еще не существует. Который *должен* быть новее нового, ибо весь – в золотом шитье!

– Да, но это обойдется мне в семьсот рублей! – таков был ответ отца на наши поздравления его с новым званием.

– Неужели за звание надо платить?

– За звание – нет. За мундир.

– Как! У тебя будет мундир? Шитый серебром?

– *Если бы* серебром...

Потом начались примерки, проходившие в гробовом молчании.

– Раз он портной, пусть смотрит сам. *Его* дело!

Впрочем, на моей памяти отец ни разу не бросил *сознательного* взгляда в зеркало. Безмолвные примерки, за которыми следовало глухое, медвежье ворчанье:

– Семьсот рублей за одежду – да это форменный грабеж! Прикинем: на семьдесят пять рублей сукна да на сотню серебряного и золотого шитья, – материал и работа – да полсотни портному... ах, еще на подкладку рублей двадцать пять – вот вам всего-навсего двести пятьдесят – и это *хорошая* цена! Пусть будет, для очистки совести, триста. Куда же деваются еще четыре сотни? Кому?

– Но, папа, ведь придворный портной берет за работу не пятьдесят рублей, как обыкновенный.

– Придворный, обыкновенный. Есть только два разряда портных – плохие и хорошие. А для меня все они хороши, было бы во что вдеть руки и ноги! Придворный портной! Выходит, что переплачиваешь за звук, за слово «двор»!

Наконец мундир готов, и мы помогаем отцу попасть в рукава и застегнуться на все крючки.

Восклицания восторга: «Какая красота! Как ты в нем хорош! Да посмотри же на себя!»

Он бросает в сторону зеркала растерянный и недоверчивый взгляд близорукого – чтобы тотчас же отвести глаза.

– Хорош! – даже слишком! (И, повторяя привычный свой припев:) Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!

– Так это же не на себя, а для музея, папа!

Он, настораживаясь:

– Постой, постой, постой... как ты сказала?

– Для музея. Чтобы почтить твой музей. Твой новый музей – твоим новым мундиром. Мраморный музей – золотым мундиром.

– У тебя красноречие твоей матери. Она все могла со мной сделать – словами.

– Да ведь это не слова, папа. Это – глазами видишь. Белая лестница музея, а наверху, меж двумя колоннами – ты. В темно-синем, серебряном, золотом... Посмотри, что за прелесть это шитье! Листья... веточки...

– Если бы не золото!

– Но ведь оно – почти совсем не золото! Так – тень золота, едва заметная, даже чуть зеленоватая. Скромный, *благород-*

ный вид!

– Да, в глаза как будто бы не бьет. Но выглядеть такой...
иконой!

И – со вздохом:

– Разве что для музея...

IV Приют²⁸

Еще небольшое доказательство этого аскетизма. По делам Музея отец часто бывал в Германии и всегда останавливался в каком-нибудь странноприимном доме: убежище для людей почтенных, но незажиточных.

– Поднимаются под звуки колокола в шесть часов.

– И ты тоже?

– И я: это очень полезно для здоровья. Затем женщины протирают пол, мужчины бреются.

– И ты тоже? (У моего отца не было никогда бороды, но зато у него были огромные свисающие усы, а-ля Клемансо.)

– Ия. Потом поют гимны.

– И ты тоже?

– И я.

– Но, папа, ты же фальшивишь.

Он, покорно:

– Да, я фальшивлю, когда пою, но я пою так тихо, что меня не слышно, я только немного открываю рот.

²⁸ Перевод Р. Родиной.

– Но это же протестантские песнопения! (Наша ортодоксальная гувернантка, которая грезит о монастыре.)

– Да, протестантские. Но как прекрасны голоса и слова тоже. А потом пили кофе с молоком... А потом все уходят – до вечера.

– Но, папа, это, наверное, прибежище Армии спасения!

Папа миролюбиво:

– Может быть, но я не очень в это верю, поскольку за все время я не встретил ни одной женщины в форменном платье.

v Лавровый венок²⁹

День открытия музея. Едва занявшееся утро торжественного дня. Звонок. Курьер из музея? Нет, голос женский.

Разбуженный звонком, отец уже на пороге зала, в старом своем, неизменном халате, серо-зеленоватом, цвета ненастья, цвета Времени. Из других дверей, навстречу ему – явление очень красивой, очень высокой женщины, красивой, высокой *дамы* – с громадными зелеными глазами, в темной, глубокой и широкой оправе ресниц и век, как у Кармен, – и с ее же смуглым, чуть терракотовым румянцем.

Это – наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей млад-

²⁹ Перевод А. Эфрон.

шей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери, – Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка – княжеской крови и романтической души.

Отец, разглядев посетительницу:

– Ради Бога, извините, Лидия Александровна! Я в таком виде... Не знал, что это вы, думал – курьер... Позвольте, я... (смущенно показывая на халат).

– Нет, нет, нет, дорогой мой, глубокоуважаемый Иван Владимирович! Так – гораздо лучше. В этот знаменательный день халат ваш похож на римскую тогу. Вот именно – тогу. Даже на греческий пеплум. Да.

– Но... (отец, конфузясь все больше) я, знаете, как-то не привык...

– Уверю вас – настоящая тога мудреца! К тому же через несколько часов вы предстанете нам во всем своем блеске. Я так рано, потому что хотела первой поздравить вас с этим великим днем, самым прекрасным днем вашей жизни – и моей тоже. Да, и моей. В которой мне никогда ничего не дано было *создать*. Мне не было дано этого счастья. Поэтому я вас так и полюбила. Сразу полюбила. И буду любить – до последнего вздоха. За то, что вы – созидатель. Вот именно – созидатель. Я *должна* была первой поблагодарить вас за подвиг вашей жизни, за подвиг вашего труда. От имени России и от своего я принесла вам – вот это.

Перед ошеломленным отцом – лавровый венок.

– Позвольте, позвольте, позвольте...

– Наденьте его – сейчас же, тут же, на моих глазах. Пусть он увенчает ваше прекрасное, ваше благородное чело!

– Чело? Лидия Александровна, голубушка, я бесконечно тронут, но... лавровый венок... мне?! Это, право, как-то даже и некстати!

(В своей полнейшей отрешенности от *внешнего* отец и не задумывается о том, как может *выглядеть* лауреат в халате!)

– Нет, нет, нет, не спорьте! – посетительница, с вызовом на устах и со слезами на глазах. – Я *должна* увенчать вас, хотя бы на мгновенье!

И, пользуясь тем, что отец мой, движением смущенной благодарности, протягивает ей обе руки, она предательским, воистину итальянским жестом возлагает, нет, нахлобучивает ему на голову венок.

Он, отбиваясь:

– Прошу вас, не надо! Не надо!

Она, умоляюще:

– О, не снимайте! Он так вам к лицу!

И, со всей страстью восхищения (ибо восхищение – величайшая из ведомых мне страстей!) – целует его, – тридцатипятилетняя красавица – почти семидесятилетнего старика, в увенчанный лаврами лоб.

Мгновение спустя (венок уже снят и бережно положен на стол) просительница, все еще стоя и сжимая руки моего отца

В СВОИХ:

– Хочу, чтоб вы знали: это – римский лавр. Я его выписала из Рима. Деревцо в кадке. А венок сплела сама. Да. Пусть вы родились во Владимирской губернии, Рим – город вашей юности (моей – тоже!), и душа у вас – римская. Ах, если бы ваша жена имела счастье дожить до этого дня! Это был бы *ее* подарок!

Отец мой скончался 30 августа 1913, год и три месяца спустя открытия музея. Лавровый венок мы положили ему в гроб.

1936

Москва, 1918–1920 гг. (дневниковые записи)

Мои службы

Пролог

Москва, 11-го ноября 1918 г.

– Марина Ивановна, хотите службу?

Это мой квартирант влетел, Икс, коммунист, кротчайший и жарчайший.

– Есть, видите ли, две: в банке и в Наркомнаце... и, собственно говоря (прищелкивание пальцами)... я бы, со своей стороны, вам рекомендовал...

– Но что там нужно делать? Я ведь ничего не умею.

– Ах, все так говорят!

– Все так говорят, я так делаю.

– Словом, как вы найдете нужным! Первая – на Никольской, вторая здесь, в здании первой Чрезвычайки.

Я —?!—

Он, уязвленный: – Не беспокойтесь! Никто вас расстрели-

вать не заставит. Вы только будете переписывать.

Я: – Расстрелянных переписывать?

Он, раздраженно: – Ах, вы не хотите понять! Точно я вас в Чрезвычайку приглашаю! Там такие, как вы, и не нужны...

Я: – Вредны.

Он: – Это *дом* Чрезвычайки, Чрезвычайка ушла. Вы, наверное, знаете, на углу Поварской и Кудринской, у Льва Толстого еще... (щелк пальцами)... дом...

Я: – Дом Ростовых? Согласна. А учреждение как называется?

Он: – Наркомнац. Народный комиссариат по делам национальностей.

Я: – Какие же национальности, когда Интернационал?

Он, почти хвастливо: – О, больше, чем в царские времена, уверяю вас!.. Так вот, Информационный отдел при Комиссариате. Если вы согласны, я сегодня же переговорю с заведующим. (Внезапно усумнившись:) – Хотя, собственно говоря...

Я: – Постойте, а это не против белых что-нибудь? Вы понимаете...

Он: – Нет, нет, это чисто механическое. Только, должен предупредить, пайка нет.

Я: – Конечно, нет. Разве в приличных учреждениях?..

Он: – Но будут поездки, может быть, повысят ставки... А в банк вы решительно отказываетесь? Потому что в банке...

Я: – Но я не умею считать.

Он, задумчиво: – А Аля умеет?³⁰

Я: – И Аля не умеет.

Он: – Да, тогда с банком безнадежно... Как вы называете этот дом?

Я: – Дом Ростовых.

Он: – Может быть, у вас есть «Война и мир»? Я бы с удовольствием... Хотя, собственно говоря...

Уже лечу, сломя голову, вниз по лестнице. Темный коридор, бывшая столовая, еще темный коридор, бывшая детская, шкаф со львами... Выхватываю первый том «Войны и мира», роняю по соседству второй том, заглядываю, забываю, забываюсь...

* * *

– Марина, а Икс ушел! Сейчас же после вашего ухода! Он сказал, что он на ночь читает три газеты и еще одну легкую газетку и что «Войну и мир» не успеет. И чтобы вы завтра позвонили ему в банк, в 9 часов. А еще, Марина (блаженное лицо), он подарил мне четыре куска сахара и кусок – вы только подумайте! – *белого* хлеба!

Выкладывает.

– А что-нибудь еще говорил, Алечка?

– Пойдите... (наморщивает брови)... да, да, да! Са-бо-

³⁰ Але 4 с половиной года. (Примеч. М. Цветаевой.)

таж... И еще спрашивал про папу, нет ли писем. И такое лицо, Марина, сделал... гримасное! Точно нарочно хотел рассердиться...

* * *

13-го ноября (хорош день для начала!), Поварская, дом гр. Соллогуба, «Информационный отдел Комиссариата по делам национальностей».

Латыши, евреи, грузины, эстонцы, «мусульмане», какие-то «Мара-Мара», «Эн-Дунья» – и все это, мужчины и женщины, в куцавейках, с нечеловеческими (национальными) носами и ртами.

А я-то, всегда чувствовавшая себя недостойной этих очагов (усыпальниц!) *Рода*.

(Говорю о домах с колонистами и о своей робости перед ними.)

* * *

14-го ноября, второй день службы.

Странная служба! Приходишь, упираешься локтями в стол (кулаками в скулы) и ломаешь себе голову: чем бы таким заняться, чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, я замечаю в нем злобу.

* * *

Пишу в розовой зале – розовой сплошь.

Мраморные ниши окон, две огромных завешенных люстры. Мелкие вещи (вроде мебели!) исчезли.

* * *

15-го ноября, третий день службы.

Составляю архив газетных вырезок, то есть: излагаю своими словами Стеклова, Керженцева, отчеты о военнопленных, продвижение Красной Армии и т. д. Излагаю раз, излагаю два (переписываю с «журнала газетных вырезок» на «карточки»), потом наклеиваю эти вырезки на огромные листы. Газеты тонкие, шрифт еле заметный, а еще надписи лиловым карандашом, а еще клей – это совершенно бесполезно и рассыпется в прах еще раньше, чем сожгут.

Здесь есть столы: эстонский, латышский, финляндский, молдаванский, мусульманский, еврейский и несколько совсем нечленораздельных. Каждый стол с утра получает свою порцию вырезок, которую затем, в течение всего дня, и обрабатывает. Мне все эти вырезки, подклейки и наклейки представляются в виде бесконечных и исхищреннейших варьаций на одну и ту же, очень скудную тему. Точно у компози-

тора хватило пороху ровно на одну музыкальную фразу, а исписать нужно было стоп тридцать нотной бумаги – вот и варьирует: варьируем.

Забыла еще столы польский и бессарабский. Я, не без основания, «русский» (помощник не то секретаря, не то заведующего).

Каждый стол – чудовищен.

Слева от меня – две грязных унылых еврейки, вроде селедок, вне возраста. Дальше: красная, белокурая – тоже страшная, как человек, ставший колбасой, – латышка: «Я эфо знала, такой миленький. Он уцастфофал в загофоре и эфо теперь пригофорили к расстрелу. Чик-чик»... И возбужденно хихикает. В красной шали. Яркорозовый жирный вырез шеи.

Еврейка говорит: «Псков взят!» У меня мучительная надежда: «Кем?!!»³¹ Справа от меня – двое (Восточный стол). У одного нос и нет подбородка, у другого подбородок и нет носа. (Кто Абхазия и кто Азербайджан?) За мной семнадцатилетнее дитя – розовая, здоровая, курчавая (белый негр), легко-мыслящая и легко-любящая, живая Атенаис из «Боги жаждут» Франса – та, что так тщательно оправляла юбки в роковой тележке, – «fiere de mourir comme une Reine de France»³².

Еще – тип институтской классной дамы («завзятая теат-

³¹ Только позднее поняла: «взят» – конечно: «нами!» Если бы белыми – так «отдан». (Примеч. М. Цветаевой.)

³² Готовая умереть, как французская королева (фр.).

ралка»), еще – жирная дородная армянка (грудь прямо в подбородок, не понять: где что), еще ублюдок в студенческом, еще эстонский врач, сонный и пьяный от рождения... Еще разновидностью – унылая латышка, вся обсосанная. Еще...

* * *

(Пищу на службе.)

Опечатка:

«Если бы иностранные правительства оставили в *помог* русский народ» и т. д.

«*Вестник Бедноты*», 27-го ноября, № 32.

Я, на полях: «Не беспокойтесь! Постоят-постоят – и оставят!»

* * *

Пересказываю, по долгу службы, своими словами, какую-то газетную вырезку о необходимости, на вокзалах, дежурства грамотных:

«На вокзалах денно и ночью должны дежурить грамотные, дабы разъяснять приезжающим и отъезжающим разницу между старым строем и новым».

Разница между старым строем и новым:

Старый строй: «А у нас солдат был»... «А у нас блины

пекли»... «А у нас бабушка умерла».

Солдаты приходят, бабушки умирают, только вот блинов не пекут.

* * *

Встреча.

Бегу в Комиссариат. Нужно быть к девяти – уже одиннадцать: стояла за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным на Арбате.

Передо мной дама: рваная, худенькая, с кошелкой. Равняюсь. Кошелка тяжелая, плечо перекосилось, чувствую напряжение руки.

– Простите, сударыня. Может быть, вам помочь?

Испуганный взлет:

– Да нет...

– Я с удовольствием понесу, вы не бойтесь, мы рядом пойдем.

Уступает. Кошелка, действительно, чертова.

– Вам далеко?

– В Бутырки, передачу несусь.

– Давно сидит?

– Который месяц.

– Ручателей нет?

– Вся Москва – ручатели, потому и не выпускают.

– Молодой?

– Нет, пожилой... Вы, может быть, слышали? Бывший градоначальник, Д<жунков>ский.

* * *

С Д<жунков>ским у меня была такая встреча. Мне было пятнадцать лет, я была дерзка. Асе³³ было тринадцать лет, и она была нагла. Сидим в гостях у одной взрослой приятельницы. Много народу. Тут же отец. Вдруг звонок: Д<жунков>ский.

(И ответный звонок: «Ну, Д<жунков>ский, держись!»)

Знакомимся. Мил, обаятелен. Меня принимает за взрослую, спрашивает, люблю ли я музыку. И отец, памятуя мое допотопное вундеркиндство:

– Как же, как же, она у нас с пяти лет играет!

Д<жунков>ский, любезно:

– Может быть, сыграете?

Я, ломаясь:

– Я так все перезабыла... Боюсь, вы будете разочарованы...

Учтивость Д<жунков>ского, уговоры гостей, настойчивость отца, испуг приятельницы, мое согласие.

– Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в четыре руки?

³³ Моей сестре. (Примеч. М. Цветаевой.)

– О, пожалуйста.

Подхожу к Асе и, шепотом на своем языке:

– Wi (pi) rwe (pe) rde (pe) nTo (po) nlei(pei) te(pe)r spi(pi)...

Ася не выдерживает.

Отец: – Что это вы там, плутовки?

Я – Асе: «Гаммы наоборот!»

Отцу:

– Это Ася стесняется.

* * *

Начинаем. У меня: в правой руке ре, в левой до (я в басах). У Аси – в левой руке ре, в правой до. Идем навстречу (я слева направо, она справа налево). При каждой ноте громогласный двуголосный счет; раз и, два и, три и... Гробовое молчание. Секунд через десять неуверенный голос отца:

– Что это вы, господа, так монотонно? Вы бы что-нибудь поживее выбрали.

В два голоса, не останавливаясь:

– Это только сначала так.

* * *

Наконец, моя правая и Асиная левая – встретились.

Встаем с веселыми лицами.

Отец – Д<жунков>скому: «Ну, как вы находите?»

И Д<жунков>ский, в свою очередь вставая: «Благодарю вас, очень отчетливо».

* * *

Рассказываю. По ее просьбе называю себя. Смеемся.

– О, он не только к шуткам был снисходителен. Вся Москва...

На углу Садовой прощаемся. Снова под тяжестью кошельки перекашивается плечо.

– Ваш батюшка умер?

– До войны.

– Уж и не знаешь, жалеть или завидовать.

– Жить. И стараться, чтобы другие жили. Дай вам Бог!

– Спасибо. И Вам.

* * *

Институт.

Думала ли я когда-нибудь, что после стольких школ, пансионов и гимназий буду отдана еще и в Институт?! Ибо я в Институте, и именно отдана (Иксом).

Прихожу между 11 ч. и 12 ч., каждый раз сердце обмирает: у нас с Заведующим одни привычки (министерские!). Это

я о главном Заведующем – М <ил-ле>ре, своего собственно-го, Иванова, пишу с маленькой буквы.

Раз встретились у вешалки – ничего. Поляк: любезен. А я по бабушке ведь тоже полячка.

Но страшнее заведующего – швейцары. Прежние. Кажется, презирают. Во всяком случае, первые не здороваются, а я стесняюсь. После швейцаров главная забота не спутаться в комнатах. (Мой идиотизм на места.) Спрашивать стыдно, второй месяц служу. В передней огромные истуканы-рыцари. Оставлены за ненужностью... никому, кроме меня. Но мне нужны, равно как я, единственная из всех здесь, им сродни. Взглядом прошу защиты. Из-под забрала отвечают. Если никто не смотрит, тихонько глажу кованую ногу. (Втрое выше меня.)

Зала.

Вхожу, нелепая и робкая. В мужской мышинной фуфайке – как мышь. Я хуже всех здесь одета, и это не ободряет. Башмаки на веревках. Может быть, даже есть где-нибудь шнурки, но... кому это нужно?

Самое главное: с первой секунды Революции понять: Всё пропало! Тогда – всё легко.

Прокрадываюсь. Заведующий (собственный, маленький) – с места:

– Что, товарищ Эфрон, в очереди стояли? – В трех. – А что выдавали? – Ничего не выдавали, соль выдавали. – Да, соль это тебе не сахар!

Ворох вырезок. Есть с простыню, есть в строчку. Выискиваю про белогвардейцев. Перо скрипит. Печка потрескивает.

– Товарищ Эфрон, а у нас нынче на обед конина. Советую записаться.

– Денег нет. А вы записались?

– Какое!

– Ну что ж, будем тогда чай пить. Вам принести?

* * *

Коридоры пусты и чисты. Из дверей щелк машинок. Розовые стены, в окне колонны и снег. Мой розовый райский дворянский Институт! Покружив, набредаю на спуск в кухню: схождение Богородицы в ад или Орфея в Аид. Каменные, человеческой ногой протертые плиты. Отлого, держаться не за что, ступени косят и крутят, в одном месте летят стремглав. Ну и поработали же крепостные ноги! И подумать только, что в домашней самодельной обуви! Как зубами изгрызаны! Да, зуб, единственного зубастого старца: Хроноса – зуб!

Наташа Ростова! Вы сюда не ходили? Моя бальная Психея! Почему не вы – потом, когда-то – встретили Пушкина? Ведь имя то же! Историкам литературы и переучиваться бы не пришлось. Пушкин – вместо Пьера и Парнас – вместо пленок. Стать богиней плодородия, быв Психеей, – Наташа Ростова – не грех?

Это было бы так. Он приехал бы в гости. Вы, наслышанная про поэта и арапа, востроватым личиком вынырнули бы – и чем-то насмешенная, и чем-то уже пронзенная... Ах, взмах розового платья о колонну!

Захлестнута колонна райской пеной! И ваша – Афродиты, Наташи, Психеи – по крепостным скользящим плитам – лирическая стопа!

– Впрочем, вы просто по ним пролетали за хлебом на кухню!

* * *

Но всему конец: и Наташе, и крепостному праву, и лестнице. (Говорят, что когда-нибудь и Времени!) Кстати, лестница не так длинна – всего двадцать две ступеньки. Это я только по ней так долго (1818 г. – 1918 г.) шла.

Твердо. (Хочется сказать: твердь. Моложе была и монархия была – не понимала: почему *небесная* твердь. Революция и собственная душа научили.) Выбоины, провалы, обвалы. Расставленные руки нащупывают мокрые стены. Над головой, совсем близко, свод. Пахнет сыростью и Бониваром. Мнится, и цепи лязгают. Ах, нет, это звон кастрюлек из кухни! Иду на фонарь.

* * *

Кухня: жерло. Так жарко и красно, что ясно: ад. Огромная, в три сажени, плита исходит огнем и пеной. «Котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят козла зарезать»... А козел-то я.

Черед к чайнику. Черпают уполовником прямо из котла. Чай древесный, кто говорит из коры, кто из почек, я просто вру – из корней. Не стекло – ожог. Наливаю два стакана. Обертываю в полы фуфайки. На пороге коротким движением ноздрей втягиваю конину: сидеть мне здесь нельзя – у меня нет друзей.

* * *

– Ну-с, товарищ Эфрон, теперь и побездельничать можно!
(Это я пришла со стаканами.)

– Вам с сахарином или без?

– Валите с сахарином!

– Говорят, на почки действует. А я, знаете...

...Да и я, знаете...

Мой заведующий эсперантист (т. е. коммунист от Филологии). Рязанский эсперантист. Когда говорит об Эсперанто, в глазах теплится тихое безумие. Глаза светлые и маленькие,

как у старых святых, или еще у Пана в Третьяковской галерее. Сквозные. Чуть блудливые. Но не плотским блудом, а другим каким-то, если бы не дикость созвучия, я бы сказала: запредельным. (Если можно любить Вечность, то ведь можно и блудить с нею! И блудящих с нею (словесников!) больше, нежели безмолвствующих любящих!)

Рус. Что-то возле носа и подбородка. Лицо одутлое, неспящее. Думаю, пьяница.

Пишет по-новому – в ожидании всемирного эсперанто. Политических убеждений не имеет. Здесь, где все коммунисты, и это благо. Красного от белого не отличает. Правой от левой не отличает. Мужчин от женщин не отличает. Поэтому его товариществование совершенно искренно, и я ему охотно плачу тем же. После службы ходит куда-то на Тверскую, где с левой стороны (если спускаться к Охотному) эсперантский магазин. Магазин закрыли, витрина осталась: засиженные мухами открытки эсперантистов друг к другу со всех концов света. Смотрит и вожделеет. Здесь служит, потому что обширное поле для пропаганды: все нации. Но уже начинает разочаровываться.

– Боюсь, товарищ Эфрон, что здесь все больше... (шепотом) жида, жида и латыши. Не стоило и поступать: этого добра – вся Москва полна! Я рассчитывал на китайцев, на индусов. Говорят, что индусы очень восприимчивы к чужой культуре.

Я: – Это не индусы, это – индейцы.

Он: – Краснокожие?

Я: – Да, с перьями. Зарежут – и воспримут целиком. Если ты во френче – с френчем, если ты во фраке – с фраком. А индусы – наоборот: страшная тупость. Ничто чужое в глотку не идет, ни идейное, ни продовольственное. (Вдохновляясь:) – Хотите формулу? Индеец (европейца) воспринимает, индус (Европу) извергает. И хорошо делают.

Он, смущенный:

– Ну, это вы... Я, впрочем... Я больше от коммунистов слышал, они *тоже* рассчитывают на Индию... (В свою очередь вдохновляясь:) – Думал – в лоск разэсперанчу! (Опадая:) – Без пайка – и ни одного индуса! Ни одного негра! Ни одного китайца даже!.. А эти (круговой взгляд на пустую залу) – и слушать не хотят! Я им: Эсперанто, они мне: Интернационал! (Испугавшись собственного крика:) – Я ничего не имею против, но сначала Эсперанто, а потом уж... Сначала слово...

Я, впадая:

– А потом *дело*. Конечно. Сначала бе слово и слово бе...

Он, снова взрываясь:

– И этот Мара-Мара! Что это такое? Откуда взялось? Я от него еще – не только слова: звука не слышал! Это просто немой. Или идиот. Ни одной вырезки не получает – только жалованье. Да мне не жаль. Бог с ним, но *зачем приходит?* Ведь каждый день, дурак, приходит! До четырех, дурак, сидит. Приходил бы 20-го, к получке.

Я, коварно:

– А может быть, он, бедненький, все надеется? Приду, а на столе вырезка про мою Мару-Мару?

Он, раздраженно:

– Ах, товарищ Эфрон, бросьте! Какие там вырезки? Кто про эту Мару-Мару писать будет? Где она? Что она? Кому она нужна?

Я, задумчиво:

– А в географии ее нет... (Пауза.) И в истории нет... А что, если ее вообще нет? Взяли и выдумали – для форсу. Дескать, все нации. А этого нарядили... А это просто немой... (конфиденциальное:) – Нарочно немного взяли, чтоб себя не выдал, по-русски...

Он, с содроганием доглатывая остывший чай:

– А чччёрт их знает!

* * *

Топота и грохота. Это национальности возвращаются с кормежки. Подкрепившись кониной, за вырезки. (Лучше бы вырезку, а? Кстати, до революции, руку на сердце положи, не только не отличала вырезку от требухи – крупы от муки не отличала! И ничуть не жалею.)

Товарищ Иванов, озабоченно: – Товарищ Эфрон, товарищ М<илле>р может зайти, спровадим-ка поскорей наше барахло. (Разгребает:) – «Продвижение Красной армии»...

Стеклова статья... «Ликвидация безграмотности»... «Долой белогвардейскую свол»... – Это вам – «Буржуазия оруду-ет»... Опять вам... «Все на красный фронт»... Мне... «Обращение Троцкого к войскам»... Мне... «Белоподкладочники и белогвар»... Вам... «Приспешники Колчака»... Вам... «Зверства белых»... Вам...

Потопаю в белизне. Под локтем – Мамонтов, на коленях – Деникин, у сердца – Колчак.

– Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь»!

Строчу со страстью.

– Да что же вы, товарищ Эфрон, не кончаете? Газету, №, число, кто, о чем – никаких подробностей! Я сначала было тоже так – полотнищами, да М<илле>р наставил: бумаги много изводите.

– А М<илле>р верит?

– Во что?

– Во всё это.

– Да что тут верить! Строчи, вырезай, клей...

– Ив Лету – бух! Как у Пушкина.

– А М<илле>р очень образованный человек, я все еще не потерял надежду...

– Представьте, мне тоже кажется! Я с ним недавно встрети-лась у виселицы... фу-ты, Господи! – У вешалки: все эти «белогвардейские зверства» в голове... Четверть первого! Ничего, даже как-то умно поглядел... Так вы надеетесь?

– Как-нибудь вечером непременно затащу его в клуб эс-

перантистов.

– Аспирант в эсперанты?

Esperere, enfant, demain! Et puis demain, encore...
Et puis toujours demain... Croyons en l'avenir.
Esperere! Et chaque fois que se leve l'aurore
Soyons la pour prier comme Dieu pour nous benir
Peut-etre...³⁴

Ламартина стих. Вы понимаете по-французски?

– Нет, но представьте себе, очень приятно слушать. Ах, какой бы из вас, товарищ Эфрон, эсперантист...

– Тогда я еще скажу. Я в 6-ом классе об этом сочинение писала:

«A une jeune fille qui avait raconte son reve».

Un baiser... sur le front! Un baiser – meme en reve!
Mais de mon triste front le frais baiser s'enfuit...
Mais de l'ete jamais ne reviendra la seve,
Mais Гаurore jamais n'etreindra la nuit³⁵ —

Вам нравится? (И, не давая ответить:) – Тогда я вам еще

³⁴ Надейся, дитя, завтра! И потом – завтра – опять...И потом – всегда – завтра... Будем верить в будущее.Надейся! И всякий раз, как заря начинает вставать,Будем просить, чтобы Бог благословил нас,Может быть... (фр.)

³⁵ «Девушке, рассказавшей свой сон».Поцелуй... в лоб! Поцелуй – лишь во сне!Но недавний поцелуй слетает с моего грустного лба...Но из лета никогда не вернуться живительному соку,И заря никогда не одолеет ночь, (фр.)

далее скажу:

Un baiser sur le front! Tout mon etre frissonne,
On dirait que mon sang va remonter son cours...
Enfant! – ne dites plus Vos rêves a personne
Et ne revez jamais... ou bien – revez toujours!³⁶

Правда, пронзает? Тот француз, которому я писала это сочинение, был немножко в меня... Впрочем, вру: это была француженка, и я была в нее...

– Товарищ Эфрон! (Шепот почти над ухом. Вздрагиваю. За плечом мой «белый негр», весь красный. В руке хлеб.) – Вы не обедали, может, хотите? Только предупреждаю, с отрубями...

– Но вам же самой, я так смущена...

– А вы думаете... (морда задорная, в каждой бараньей кудре – вызов)... я его на Смоленском покупала? Мне Филимович с Восточного стола дал – пайковый, сам не ест. Половину съела, половину вам. Завтра еще обещал. А целоваться все равно не буду!

* * *

(Озарение: завтра же подарю ей кольцо – то, тоненькое с

³⁶ Поцелуй в лоб! Все мое существо дрожит,И кажется, кровь возобновляет свой круг...Дитя! – Не рассказывайте Ваших снов никомуИ не грезьте никогда – или – мечтайте всегда! (фр.)

альмандином. Альмандин – Алладин – Альманзор – Альгамбра —... с альмандином. Она хорошенькая, и ей нужно. А я все равно не сумею продать.)

* * *

Дон. – Дон. – Не река-Дон, а звон. Два часа. И – новое озарение: сейчас придумаю срочность и уйду. Про белогвардейцев сейчас кончу – и уйду. Быстро и уже без лирических отступлений (я – вся такое отступление!) осыпаю серую казенную бумагу перлами своего почерка и виперами своего сердца. Только ять выскакивает, контрреволюционное, в виде церковки с куполом. – Ять!!! – «Товарищ Керженцев кончает свою статью пожеланием генералу Деникину верной и быстрой виселицы. Пожелаем же и мы, в свою очередь, товарищу Керженцеву»...

– Сахарин! Сахарин! На сахарин запись! – Все вскакивают. Надо воспользоваться чужим сластолюбием в целях своего свободолюбия. Вкрадчиво и нагло подсовываю Иванову свои вырезки. Накрываю половинкой бело-негрского хлеба. (Другая половинка – детям.)

– Товарищ Иванов, я сейчас уйду. Если М<илле>р спросит, скажите, в кухне, воду пью.

– Идите, идите.

Сгребая черновую с Казановой, кошелку с 1 ф<унтом> соли... и боком, боком...

– Товарищ Эфрон! – нагоняет меня уже возле рыцарей. – Я завтра совсем не приду Очень бы вас просил, приходите – ну – хотя бы к 10 V2 часам. А послезавтра, тогда, совсем не приходите. Вы меня крайне выручите. Идет?

– Есть!

Тут же, при недоумевающих швейцарах, молодежато отдаю честь, и гоном – гоном – белогвардейской колоннадой, по оснеженным цветникам, оставляя за собой и национальности, и сахарин, и эсперанто, и Наташу Ростову – к себе, к Але, к Казанове: домой!

* * *

Из «Известий»:

«Господство над морем – господство над миром!»
(Упоена как стихом.)

* * *

9/23 января (Известия Ц.И.К. «Наследник»).

Кто-то читает: «Малолетний сын Корнилова, Георгий, назначен урядником в Одессе».

Я, сквозь общий издевательский хохот, невинно:

– Почему урядником? Отец же не служил в полиции!

(А в груди клокочет.)

Чтец: – Ну там, знаете, они все жандармы!

(Самое трогательное, что ни коммунист, ни я в ту минуту и не подозревали о существовании казачьих урядников.)

* * *

В нашем Наркомнаце есть домашняя церковь – соллогубовская, конечно. Рядом с моей розовой залой. Недавно с «белым негром» прокрались. Тьма, сверкание, дух как из погребца. Стояли на хорах. «Белый негр» крестился, я больше думала о предках (привидениях!). В церкви мне хочется молиться, только когда поют. А Бога в помещении вообще не чувствую.

Любовь – и Бог. Как это у них спевается? (Любовь, как стихия любовного, Эрос земной.) Кошусь на своего белого негра: молится, глаза невинные. С теми же невинными глазами, теми же моленными устами...

Если бы я была верующей и если бы я любила мужчин, это во мне бы дралось, как цепные собаки.

Отец моего «белого негра» служит швейцаром в одном из домов (дворцов), где часто бывает Ленин (Кремль). И мой «белый негр», часто бывая на службе у отца, постоянно видит Ленина. – «Скромный такой, в кепке».

Белый негр – белогвардеец, то есть, чтобы не смешивать: любит белую муку, сахар и все земные блага. И, что уже серьезнее, горячо и глубоко богомолен.

– Идет он мимо меня, М<арина> И<вановна>, я: «Здравствуйте, Владимир Ильич!» – а сама (дерзко-осторожный взгляд вокруг): – Эх, что бы тебя, такого-то, сейчас из револьвера! Не грабь церквей! (разгораясь): – И знаете, М<арина> И<вановна>, так просто, – вынула револьвер из муфты и ухлопала!.. (Пауза). – Только вот стрелять не умею... И папашу расстреляют...

Попади бы мой негр в хорошие руки, умеющие стрелять, и умеющие учить стрелять, и, что больше, – умеющие губить и не жалеть – э – эх!..

* * *

Есть у нас в комиссариате одна старая дева – тощая – с бантом – влюбленная в своих великовозрастных братьев-врачей, достающая им по детским карточкам шоколад, – пронира, сутяга, между прочим, знающая языки («такая семья») и т. д. Когда она слышит о чьей-нибудь болезни, то – с непоколебимой уверенностью – и точно отрубая что-то рукой – определяет: «Заразилась», или «Заразился», смотря по тому, идет ли речь о лице женского или мужского пола.

Тиф или ишиас – у нее всё с<ифи>лис.

Стародевический психоз.

А есть другая – пухлая, сырая, бабушкина внучка, подружка моего белого негра, провинциалочка. Это совсем трогательная девочка. Только недавно приехала из Рыбинска. Дома остались бабушка и братец. Двойной и неистощимый кладезь блаженств.

– Наша бабушка такая: маленьких детей не выносит. Грудного нипочем на руки не возьмет: запах, говорит, от них и беспокойство. Ну а подрастут – ничего. Нарядит, научит. Меня с шестого года растила. «Кушать хочешь?» – «Хочу». – «Ну, иди на кухню, смотри, как обед готовится». Так я с десяти лет уж решительно все умела (оживляясь): не только пироги там, котлеты – и паштеты, и заливное, и торты... Так же и с шитьем: «Ты девочка, тебе женщиной быть, хозяйкой, детей-мужа обшивать». Я – бегать, она меня за ручку да на скамеечку: «платки подрубай», «полотенца меть», а война началась – на раненых. Сама кроила, сама шила. Потом папаша женился – сиротка я, – братец родился, все приданое ему сама... Все пеленки с меточками, гладью... А одеяльце его, в чем гулять выносят, так все моим кружевом обшито, в четыре пальца, кремовое... (Блаженно:) – Ведь бабушка меня и вязать, и гладью... Пяльцы мне собственные заказала... Мы богато жили! А всё сама! И бабушка сама, и я сама... Я не могу, чтобы руки зря лежали!

Смотрю на руки: ручки: золотые! Маленькие, пухлые: стройные востроватые пальчики. Крохотное колечко с бирюзинкой. Был жених, недавно расстрелян в Киеве.

– Мне его приятель писал, тоже студент-медик. Выходит мой Коля из дому, двух шагов не прошел – выстрелы. И прямо к его ногам человек падает. В крови. А Коля – врач, не может же он раненого оставить. Оглянулся: никого. Ну и взял, стащил к себе в дом, три дня выхаживал. – Офицер белый оказался. – А на четвертый пришли, забрали обоих, вместе и расстреляли...

Ходит в трауре. Лицо из черноты землисто-серое. Недоедание, недосыпание, одиночество. Тошная, непонятная, непривычная работа в Комиссариате. Призрак жениха. Безпризорность.

Бедная тургеневская мещаночка! Эпическая сиротка русских сказок! Ни в ком, как в ней, я так не чувствую великого сиротства Москвы 1919 г. Даже в себе.

Недавно заходила ко мне, стояла над моими развороченными сундуками: студенческий мундир, офицерский френч, сапоги, галифе – погоны, погоны, погоны...

– Марина Ивановна, вы лучше закройте. Закройте и замок повесьте. Пыль набивается, летом моль съест... Может, еще вернется...

И, задумчиво разглаживая какой-то беспомощный рукав: – Я бы так не могла. Совсем как человек живой... Я и сейчас плачу...

* * *

Недавно были с ней в оперетке: она, «белый негр» и я (в первый раз в жизни). Напевы милые, стихи плохие. Сух и жесток русский язык в польских устах. Но... какая-то любовь, но... вне селедок и кошелок, но... свет, смех, жест!

Убожество? Но мне чем хуже – тем лучше. «Настоящее искусство» меня бы сейчас оскорбило. Все требования бы встали: «Я не скот!»

А так – подделка за подделку: после фарса советского – полусветский фарс.

* * *

Два слова еще о моей «невесте». С глазами, заплаканными по жениху (чудесные, карие), часами и жалобно выматывает себе и окружающим душу: «Я так люблю все жирное и сладкое... Я раньше гораздо полнее была... Я без сливочного масла жить не могу... Мне мороженая картошка в рот не идет»...

* * *

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!

(Стих о вобле в меньшевицкой газете «Всегда вперед»).

* * *

Мой помощник.

Наш стол обогатился новым сотрудником (собездельником было бы точнее). Богатырь, малиновый налив, волжанин. Вечно и зверски голоден. За обедом безнадежно просит надбавки: молча подставленная тарелка кротко и упорно вопиет. Ест *все*.

Собой красавец: восемнадцать лет, румянец такой, что жарко рядом сидеть: пещь! Безбород и безус. Робок. Боится двинуться – знает, что сокрушит. Боится кашлянуть – знает, что оглушит. Робок и кротость великана. У меня к нему нежность, как к огромному теленку: безнадежная, потому что дать – нечего.

Узрев его впервые у стола – уральского ведмедя над кружком «Известий», мы с Ивановым одновременно усмехнулись. Что думал Иванов – не знаю, я же в ту секунду знала: «Завтра не приду, и послезавтра не приду, и послепослезавтра не приду. Буду стирать и писать».

Не приходила не три дня, а шесть. На седьмой являюсь. Стол чист – ни одной вырезки: как языком слизано. Иванова

– ни признака. Медведь, расставив локти, один царствует.

Я, обеспокоенно:

– А где Иванов? Где вырезки?

Медведь, сияя:

– Иванова я с тех пор в глаза не видал! Я здесь целую неделю один восседал.

Я, в ужасе:

– Но вырезки? Журнал вели?

Он, блаженно:

– Какое – журнал! Всё в корзине! Попытался было – перо плохое, бумага праховая, пишу – сам не разбираю. И такой сон на меня напал... К весне, должно быть.

(Я, мысленно: «Врешь, медведь, к зиме!»)

Он, продолжая:

– Ну, думаю, была не была! Сгреб это я их, простыни-то эти, и в корзину. Утром прихожу – пусто. Должно быть, уборщица сожгла. И каждый день так. Маленькие все целы, для вас берег.

Выдвигает ящик: сонм белых бабочек!

И я, обольщенная строчкой и уже оторвавшись, мысленно:

«Сонм белых бабочек! Раз, две... четыре»...

(– нет! —)

Сонм белых девочек! Раз, две... четыре...

Сонм белых девочек! Да нет – в эфире
Сонм белых бабочек! Прелестный сонм
Великих маленьких княжон...

и, отрываясь, к «сотруднику»:

– Сейчас мы все это восстановим... (мысленно: кроме великих княжон!) – разберите хронологически.

Он: – Как это?

Я: – По числам. Ну, 5-ое февраля. Римское II – это февраль, Вам ясно? I – январь, II – февраль...

Не дышит и не мигает.

– Тогда постоит... Тогда просто пишете письмо домой. Берите перо и пишете: «Милая мама, мне здесь очень скучно и голодно»... В этом роде, или наоборот: «Мне здесь очень весело и сытно». Потому что иначе она огорчится. А я сейчас буду восстанавливать статьи Стеклова и Керженцева.

Он, восхищенно: – Из головы?!

Я: – Не из сердца же!

И, махом: «В статье от 5-го февраля 1919 г. «Белогвардейщина и белый слон»³⁷ товарищ Керженцев утверждает»...

* * *

Перекочевываем на новое пепелище – из дома Ростовых в Иерусалимское подворье. Целых десять дней перебираем-

³⁷ Никогда не существовавшей! (Примеч. М. Цветаевой.)

ся. Докрадываем остатки ростовско-соллогубовского добра. Я взяла себе на память тарелку с гербом. В кирпично-красном поле – борзая. Лирическая кража, даже рыцарская: тарелка не глубокая и не мелкая, по нынешнему времени – явно для полужидкой воблы, а дома у меня на ней будет стоять чернильница.

Бедные соллогубовские эльзевиры! В раскрытых ящиках! Под дождем! Пергаментные переплеты, французские витиеватые литеры... Своят возами. Библиотечной комиссией заведует Брюсов.

Везут: диваны, комоды, люстры. Рыцари мои остаются. Вписанные в стену портреты, кажется, тоже. На месте – де-леж. Ревностный спор «столов».

– Это нашему заведующему!

– Нет, нашему!

– У нас уж стол карельской березы, к нему и кресло.

– Вот именно потому, что у вас стол, у нас будет кресло!

– Но нельзя же разбивать гарнитур!

Я, сентенциозно:

– Можно разбивать только головы!

«Столы» бескорыстны – мы все равно ничего не получим.

Все в кабинеты заведующих. Влетает мой белый негр:

– Товарищ Эфрон! Если бы вы знали, как у Ц-лера хорошо! Секретер красного дерева, ковер, бронзовые бра! Точно в старое время! Хотите, посмотрим?

Бежим через этажи. Комната №... Отдел такой-то... Ка-

бинет заведующего. Входим. Негр торжествующе: – Ну?

– Еще бы подушку под ноги и болонку...

– Будет с него и кота!

В глазах веселящийся бес.

– Товарищ Эфрон! Поймаем ему кота! Тут в 18-ой квартире есть. А?

Я, лицемерно:

– Но он здесь все загадит.

– Вот этого-то я и хочу! Громилы проклятые!

Через три минуты кот выкраден и заперт. «Служба» кончена. Летим, родства не помня, со всех шести этажей.

– Товарищ Эфрон! Малиновая оттоманка-то, а?

– А графинины ковры-то, а?

Вдогон диaboлическое мяуканье мстителя.

* * *

Три насущных М.

– Ну, как довели картошку?

– Да ничего, муж встретил.

– Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку: $\frac{2}{3}$ картошки, $\frac{1}{3}$ муки.

– Правда? Нужно будет сказать матери.

У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.



Мороженая картошка.

– Товарищ Эфрон! Картошку привезли! Мороженая!

Узнаю, конечно, позже всех, но дурные вести – всегда слишком рано.

«Наши» уехали в экспедицию, сулили сахарные россыпи и жировые залежи, проехали два месяца и привезли... мороженую картошку! По три пуда на брата. Первая мысль: как довести? Вторая: как съесть? Три пуда гнили.

Картошка в подвале, в глубоком непроглядном склепе. Картошка сдохла, и ее похоронили, а мы, шакалы, разроем и будем есть. Говорят, привезли здоровую, но потом вдруг кто-то «запретил», а пока запрет сняли, картошка, сперва замерзнув, затем оттаяв, сгнила. На вокзале пролежала три недели.

Бегу домой за мешками и санками. Санки – Алины, детские, бубенцовые, с синими вожжами – мой подарок ей из Владимирского Ростова. Просторное плетение корзиночкой, спинка обита кустарным ковром. Только двух собак запрячь – и айда! – в северное сияние...

Но собакой служила я, северное сияние же оставалось позади: ее глаза! Ей тогда было два года, она была царственна. («Марина, подари мне Кремль!» – пальцем указывая на башни.) Ах, Аля! Ах, санки по полуденным переулкам! Моя тиг-

ровая шуба (леопард? барс?), которую Мандельштам, влюбившись в Москву, упорно величал боярской. Барс! Бубенцы!

У подвала длинный черед. Обмороженные ступени лестницы. Холод в спине: как втащить? Свои руки – в эти чудеса я верю, но... три пуда вверх! По тридцати упирающимся и отбрасывающим ступеням! Кроме того, один полоз сломан. Кроме того, я не уверена в мешках. Кроме всего, я так веселюсь, что – умри! – не помогут.

Впускают партиями: по десяти человек. Все – парами, мужья прибежали со своих служб, матери приплелись. Оживленные переговоры, планы: тот обменяет, этот два пуда насушит, третий в мясорубку пропустит (это три пуда-то?!) – *есть* собираюсь, очевидно, только я.

– Товарищ Эфрон, добавочные брать будете? На каждого члена семьи полпуда. У вас есть удостоверение на детей?

Кто-то:

– Не советую! Там одна слизь осталась.

Кто-то еще:

– Загнать можно!

Продвигаемся. Охи, вздохи, временами – смех: в темноте чьи-то руки встретились: мужская с женской. (Мужская с мужской – не смешно.) Кстати, откуда это веселящее действие Эроса на малых сих? Вызов? Самооборона? Скудость средств выявления? Робость под прикрытием легкости? Дети ведь, испугавшись, тоже часто смеются. «Еamour n'est ni

joyeux ni tendre»³⁸.

А может быть – верней всего, – никакого апоуи, просто неожиданность: мужская с мужской – ругань, мужская с женской – смех. Неожиданность и безнаказанность.

Говорят о предстоящем суде над сотрудниками – представили огромные счета и на закупленное, и на прожитое: какие-то постои, подводки, извозчики... Себе, конечно, навезли всего.

– Вы заметили, как такой-то отъелся?

– А такой-то? Щеки лопаются!

Впустили. Навстречу ошалелая вереница санок. Полозья по ногам. Окрики. Тьма. Идем по лужам. Запах поистине тлетворный.

– Да посторонитесь же!!!

– Товарищ! Товарищ! Мешок лопнул!

Хлипь. Хлябь. Ноги уходят по щиколку. Кто-то, тормозя весь цуг, яростно разувается: валенки насквозь! Я давно уже не чувствую ног.

– Да свет-то когда-нибудь – будет?!

– Товарищи! Удостоверение потеряла! Ради всего святого – спичку!

Вспыхивает. Кто-то на коленях, в воде, беспомощно разгребает слизь.

– Да вы в карманах поищите! – Вы, может, дома забыли? – Да разве тут найдешь?! – Продвигайтесь! Продвигайтесь! –

³⁸ Любовь – не веселье и нежность, (фр.)

Товарищи, встречная партия! Берегись!!!

И – прогал. Прогал и водопад. Квадратная дыра в потолке, сквозь которую дождь и свет. Хлещет, как из дюжины труб. – Потонем! – Прыжки, скачки, кто-то мешок упустил, у кого-то в проходе санки завязли. – Господи!

* * *

Картошка на полу: заняла три коридора. В конце, более защищенном, менее гнилая. Но иного пути к ней, кроме как по ней же, нет. И вот: ногами, сапогами... Как по медузье горке какой-то. Брать нужно руками: три пуда. Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись (рук не чувствую) – какую попало: раздавленную, мороженую, оттаявшую... Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, не завязывают. Пользуясь темнотой, начинаю плакать, причем тут же и кончаю.

– На весы! На весы! Кому на весы?!

Взваливаю, ташу.

Развешивают два армянина, один в студенческом, другой в кавказском. Белоснежная бурка глядит пятнистой гиеной. Точно архангел коммунистического Страшного Суда! (Весы заведомо врут!)

– Товарищ барышна! Не задерживай публику!

Ругань, пинки. Задние напирают. Я загромождила весь проход. Наконец кавказец, сжалившись – или рассердив-

шись, откатывает мой мешок ногой. Мешок, слабо завязанный, рассыпается. Клюканье. Хлипанье. Терпеливо и не торопясь подбираю.

* * *

Обратный путь с картошкой. (Взяла только два пуда, третий утаила.) Сначала беснующимися коридорами, потом сопротивляющейся лестницей – слезы или пот на лице, не знаю.

И не знаю, дождь иль слезы
На лице горят моем...

Может, и дождь! Дело не в этом! Полоз очень слаб, расщепился посередине, навряд ли доедем. (Не я везу санки, вместе везем. Санки – сподвижник по беде, а беда – картошка. Собственную беду везем!)

Боюсь площадей. Арбатской не миновать. Можно было с Пречистенского переулками, но там спуталась бы. Ни снега, ни льда: везу по воде, местами – по сухому. Задумчиво люблюсь на булыжники, уже розовые...

– О, как все это я любила!

Вспоминаю Стаховича. Увидь он меня сейчас, я бы неизбежно сделалась для него предметом гадливости. Все, вплоть до лица, в подтеках. Я не лучше собственного мешка.

Мы с картошкой сейчас – одно.

– Да куда ты пре-ешь! Нешто это можно – прямо на людей?! Буржуйка бесхвостая!

– Конечно, бесхвостая, – только черти хвостатые!

Кругом смех. Солдат, не унимаясь:

– Ишь, шляпку нацепила! А морду-то умыть...

Я, в тон, указывая на обмотки:

– Ишь, тряпки нацепил!

Смех растет. Я, не желая упустить диалога, останавливаюсь, якобы поправляя мешок.

Солдат, расходясь:

– Высший класс называется! Интеллихенция! Без прислуги лица умыть не могут!

Какая-то баба, визгливо:

– А ты мыла дай! Мыло-то кто измылил? Почем мыло-то на Сухаревой, знаешь?

Кто-то из толпы:

– Чего ему знать? Ему казенное идет! А вы, барышня, картошку везете?

– Мороженую. На службе дали.

– Известно, мороженую, – хорошая-то самим нужна! Подсобить, что ли?

Толкает, вожжи напрягаются, еду. Позади голос бабы – солдату:

– Что ж она, что в шляпе, не человек, что ль?

Рас – су – ди – ил!

* * *

Итог дня: два чана картошки. Едим все: Аля, Надя, Ирина, я.

Надя – Ирине, лукаво:

– Кушай, Ирина, она сладкая, с сахаром.

Ирина, тупясь и отворачиваясь: – Ннне...

* * *

20 марта.

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу «Монпле-эзир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

Благовещение 1919 г.

Цены:

1 ф<унт> муки – 35 р<ублей>

1 ф<унт> картошки – 10 р<ублей>

10 ф<унтов> моркови – 7 р<ублей> 50 к<опеек>

1 ф<унт> луку – 15 р<ублей>

селедка – 25 р<ублей>

(Жалование – ставки у нас еще не прошли – 775 руб<лей> в месяц.)

* * *

25-го апреля 1919 г.

Ухожу из Комиссариата. Ухожу, потому что не могу составить классификации. Пыталась, из жил лезла – ничего. *Не* понимаю. Не понимаю, чего от меня хотят: «Составьте, сопоставьте, рассортируйте... Под каждым делением – подразделение». Все в одно слово, как спелись. Опросила всех: от заведующего отделом до одиннадцатилетнего курьера – «Совсем просто». И, главное, никто не верит, что не понимаю, смеются.

Наконец, села к столу, обмакнула перо в чернила, написала: «Классификация», потом, подумав: «Деления», потом еще, подумав: «Подразделения». Справа и слева. Потом застыла.

* * *

Прослужила 5 1/2 месяцев, еще бы две недели – и отпуск (с зачетом жалованья). *Но не могу*. И вырезки за три месяца не наклеены. И на ять начинают поглядывать: «Неужели, товарищ, еще не привыкли?»... Классификацию нужно представить к 28-му. Последний срок. Нужно отдать справедливость, коммунисты доверчивы и терпеливы. В старорежим-

ном учреждении меня бы, сразу разглядев, сразу выгнали. Здесь я сама подаю в отставку.

Заведующий М<илле>р, прочтя мое заявление, коротко:

– Лучшие условия?

– Военный паек и льготные обеды на всех членов семьи.

(Молниеносный и наглейший вымысел.)

– Тогда не смею задерживать. Только не прогадайте: такие учреждения быстро рушатся.

– Я ответственным работником.

– По чьей рекомендации?

– Двух членов партии до Октября.

– Чем поступаете?

– Переводчиком.

– Переводчики очень нужны. Желаю успеха.

Выхожу. Уже в дверях – оклик:

– Товарищ Эфрон, классификацию, конечно, представите?

Я, умоляюще:

– Все материалы налицо... Мой заместитель легко справится... Уж лучше вычтите из жалованья!

* * *

Не вычли. Нет, руку на сердце положи, от коммунистов я по сей день, лично, зла не видела. (Может быть – злых не видела!) И не их я ненавижу, а коммунизм. (Вот уж два года,

как со всех сторон слышу: «Коммунизм прекрасен, коммунисты – ужасны!» В ушах навязло!»

Но, возвращаясь к классификации (озарение: не к ней ли сводится весь коммунизм?!) – точь-в-точь то же, что пятнадцать лет с алгеброй (семи – с арифметикой!). Полные глаза и пустой лист. То же, что с кройкой, – *не понимаю*, не понимаю: где влево, где вправо, в висках винт, во лбу свинец. То же, что с продажей на рынке, когда-то – с наймом прислуги, со всем моим стопудовым земным бытом: *не понимаю, не могу, не выходит*.

Думаю, если бы других заставили писать «Фортуну», они бы почувствовали точно то же, что я.

* * *

Поступаю в Монпленбеж – в Картотеку.

26-го апреля 1919 г.

Только что вернулась, и вот, великая клятва: не буду служить. Никогда. Хоть бы умерла.

Было так. Смоленский бульвар, дом в саду. Вхожу. Комната как гроб. Стены из карточек: ни просвета. Воздух бумажный (не книжный, благородный, а – праховый. Так, разница между библиотекой и картотекой: там храмом дышишь, здесь – хламом!). Устрашающе-нарядные барышни (сотрудницы). В бантах и в «ботах». Разглядят – презируют. Сижу против решетчатого окна, в руках русский алфавит. Карточ-

ки надо разобрать по буквам (все на А, все на Б), потом по вторым буквам, то есть: Абрикосов, Авдеев, потом по третьим. Так с 9-ти утра до 5 V2 вечера. Обед дорогой, есть не придется. Раньше давали то-то и то-то, теперь ничего не дают. Пасхальный паек пропущен. Заведующая – коротконогая сорокалетняя каракатица, в корсете, в очках, страшная. Чую бывшую инспектрису и нынешнюю тюремщицу. С язвительным простосердечием изумляется моей медлительности: «У нас норма – двести карточек в день. Вы, очевидно, с этим делом не знакомы»...

Плачу. Каменное лицо и слезы как булыжники. Это скорей похоже на тающего оловянного идола, чем на плачущую женщину. Никто не видит, потому что никто не поднимает лба: конкурс на быстроту:

– У меня столько-то карточек!

– У меня столько-то!

И вдруг, сама не понимая, встаю, собираю пожитки, подхожу к заведующей:

– Я сегодня не записалась на обед, можно сходить домой?

Зоркий очкастый взгляд:

– Вы далеко живете?

– Рядом.

– Но чтобы через полчаса были здесь. У нас это не полагается.

– О, конечно.

Выхожу – все еще статуей. На Смоленском рынке слезы –

градом. Какая-то баба, испуганно:

– Ай, обокрали тебя, а, барышня!

И вдруг – смех! Ликованье! Солнце во все лицо! Конечно. Никуда. Никогда.

* * *

Не я ушла из Картотеки: ноги унесли! Душа – ноги: вне остановки сознания. Это и есть инстинкт.

Эпилог

7-го июля 1919 г.

Вчера читала во «Дворце Искусств» (Поварская, 52, д<ом> Соллогуба, моя бывшая служба) – «Фортуну». Меня встретили хорошо, из всех читавших – одну – рукоплесканиями. (Оценка не меня, а публики.)

Читали, кроме меня: Луначарский – из швейцарского поэта Карла Мюллера, переводы; некий Дир Туманный – свое собственное, т. е. Маяковского, – много Диров Туманных и сплошь Маяковский!

Луначарского я видела в первый раз. Веселый, румяный, равномерно и в меру выпирающий из щеголеватого френча. Лицо средне-интеллигентское: невозможность зла. Фигура довольно круглая, но «легкой полнотой» (как Анна Каренина). Весь налегке.

Слушал, как мне рассказывали, хорошо, даже сам шипел, когда двигались. Но зала была приличная.

«Фортуну» я выбрала из-за монолога в конце:

...Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства!

Так отчетливо я никогда не читала.

...И я, Лозэн, рукой белей чем снег,
Я подымал за червь бокал задравный!
И я, Лозэн, вещал, что полноправны

Под солнцем – дворянин и дровосек!

Так ответственно я никогда не дышала. (Ответственность! Ответственность! Какая услада сравнится с тобой! И какая слава?! Монолог дворянина – в лицо комиссару, – вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не... хотела написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял, – а не всей Лубянке, 2!)

Чтению я предпослала некое введение: кем был Лозэн, чем стал и от чего погиб.

По окончании стою одна, с случайными знакомыми. Если бы не пришли – одна. Здесь я такая же чужая, как среди квартирантов дома, где живу пять лет, как на службе, как когда-то во всех семи русских и зарубежных пансионах и гимназиях, где училась, как всегда – везде.

* * *

Читала в той самой розовой зале, где служила. Люстра просияла (раньше была в чехле). Мебель выплыла. Стены прозрели бабками. (И люстры, и мебель, и прабабки, и предметы роскоши, и утварь – вплоть до кухонной посуды, – все обратно отбито «Дворцом Искусств» у Наркомнаца. Плачьте, заведующие!)

В одной из зал – прелестная мраморная Психея. Настороженность души и купальщицы. Много бронзы и много тьмы. Комнаты насыщены. Тогда, в декабре, они были голодные: голые. Такому дому нужны вещи. Вещи здесь меньше всего – вещественность. Вещь непродажная – уже знак. А за знаком – неминуюемо – смысл. В таком доме они – смыслы.

* * *

Поласкалась к своим рыцарям.

* * *

14-го июля 1919 г.

Третьего дня узнала от Б<альмон>та, что заведующий «Дворцом Искусств», Р<укавишник>ов, оценил мое чтение

«Фортуны» – оригинальной пьесы, нигде не читанной, чтение длилось 45 мин<ут>, может, больше, – в 60 руб<лей>.

Я решила отказаться от них – публично – в следующих выражениях: «60 руб<лей> эти возьмите себе – на 3 ф<унта> картофеля (может быть, еще найдете по 20 руб<лей>!) – или на 3 ф<унта> малины – или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 руб<лей> пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд».

Москва, 1918–1919

Из дневника

Грабеж

2 часа ночи. Возвращаюсь от знакомых, где бываю каждый вечер. В ушах еще последние, восхищенно-опасливые возгласы: «Какая смелая! Одна – в такой час! Когда кругом грабеж. И все эти драгоценности!» (Сами же просят сидеть, сами же не оставляют ночевать, сами же не предлагают проводить – и я выхожу смелая! Так и собака смела, которую люди из сеней выталкивают в стаю волков.)

Итак, третий час ночи. Луна прямо в лицо. Ловлю ее как в зеркало в серебряный щит кольца. Тонкий голосок фонтана, нерусская и многословная жалоба – так младшая жена жалуется в гареме – старшей. Так персияночка жаловалась, сквозь косы и чадры (бусы и чадры, слезы и чадры), зря – никому – на разинском челне. Фонтан: пушкинская урна на Собачьей площадке – пушкинская потому, что в доме напротив Пушкин читал своего Годунова. Почти – Бахчисарайский фонтан!

Подставляю лицо – луне, слух – воде: двойное струенье

Луны, воды

Двойное струенье...

Струенье... строење... сиренью... стремление... (Какое вялое слово! Пустое. Не чета – стремглав.)

На углу Собачьей и Борисоглебского овеваю платьем двух спящих милиционеров. Сонно поднимают глаза. Не живет тумб, на которых спят. Праздная мысль: «Эх! Чтобы – ограбить!» Девять серебряных колец (десятое обручальное), офицерские часы-браслет, огромная кованая цепь с лорнетом, офицерская сумка через плечо, старинная брошь со львами, два огромных браслета (один курганный, другой китайский), коробка папирос (250! подарок) – и еще немецкая книга. Но милиционеры, не прослышав моего совета, спят. Миновала пекарню Милешина, бабы-ягинскую избу, забор – вот уже мои два тополя напротив. Дом. Уже заносу ногу через железку ворот (ночью ход со двора) – как из-под навеса крыльца:

– Кто идет?

Малый лет восемнадцати, в военном, из-под фуражки – лихой вихор. Рус. Веснушки.

– Оружие есть?

– Какое же оружие у женщин?

– Что это у вас тут?

– Смотрите, пожалуйста.

Вынимаю из сумки и подаю ему, одно за другим: новый любимый портсигар со львами (желтый, английский: Dieu et

mon droit³⁹), кошелек, спички.

– А вот еще гребень, ключ... Если вы сомневаетесь, зайдемте к дворнику, я здесь четвертый год живу.

– А документ есть?

Тут, вспоминая напутствия моих осторожных друзей, добросовестно и бессмысленно парирую:

– Ау вас документ – есть?

– Вот!

Белая под луной сталь револьвера. («Значит – белый, а я почему-то всегда думала, что черный, *видела* чернь. Револьвер – смерть – чернота».)

В ту же секунду через мою голову, душа меня и цепляясь за шляпу, летит цепь от лорнета. Только тут я понимаю, в чем дело.

– Опустите револьвер и снимайте обеими руками, вы меня душиите.

– А вы не кричите!

– Вы же слышите, как я говорю.

Опускает и, уже не душа, быстро и ловко снимает в два оборота обкрученную цепь. Действие с цепочкой – последнее. «Товарищи!» – это я слышу уже за спиной, занося ногу через железку ворот.

(Забыла сказать, что за все время (минуту с чем-то) нашей беседы по той стороне переуллка ходили взад и вперед какие-то люди.)

³⁹ «Бог и мое право» (*фр.*).

Военный оставил мне: все кольца, львиную брошь, самое сумку, оба браслета, часы, книгу, гребень, ключ.

Взял: кошелек с негодным чеком на 1000 руб<лей>, новый чудный портсигар (вот оно, droit без Dieu!), цепь с лорнетом, папиросы.

В общем, если не по-божески – по-братски.

* * *

На следующий день в 6 часов вечера на М<алой> Молчановке его убили! (Напали среди света вечера на какого-то прохожего, тот дал себя ограбить и, пропустив, выстрелил в спину.) Он оказался одним из трех сыновей церковного сторожа соседней Ржевской церкви, вернувшихся, по случаю революции, с каторги.

Предлагали идти отбирать вещи. С содроганием отвергла. Как – я, живая (то есть – счастливая, то есть – богатая), пойду отбирать у него, мертвого, его последнюю добычу?! От одной мысли содрогаюсь. Так или иначе, я его последняя (может быть – предпоследняя!) радость, то, что он с собой в могилу унес. Мертвых не грабят.

Расстрел царя

Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, унылыми проездами пустынных

бульваров. Витрина – жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.

Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает):

– Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: «Жаль, что не мальчик. Сняла бы ттляпу».)

Покушение на Ленина

Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папаше. Из кофейного загара – белые глаза. (Потом рассмотрела: голубые.) Задыхается.

– Вы Марина Ивановна Цветаева?

– Я.

– Ленин убит.

– О!!!

– Я к вам с Дону.

Ленин убит и Сережа жив! Кидаюсь на грудь.

* * *

Вечер того же дня. Квартирант-коммунист З<ак>с, забе-
гая в кухню:

– Ну что, довольны?

Туплю глаза – не по робости, конечно: боюсь слишком яв-
ной радостью оскорбить. (Ленин убит, белая гвардия вошла,
все коммунисты повешены, З<ак>с – первый)... Уже – вели-
кодушье победителя.

– А вы – очень огорчены?

– Я? (Передергиванье плеч.) Для нас, марксистов, не при-
знающих личности в истории, это вообще неважно – Ле-
нин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуаз-
ной культуры... (новая судорога)... с вашими Наполеонами
и Цезарями... (сатанинская усмешка)... а для нас, знаете.
Нынче Ленин, а завтра...

Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу. Недоуменная пауза.
И быстро-быстро:

– Марина Ивановна, я тут сахар получил, три четверти
фунта, мне не нужно, я с сахарином пью, может быть, возь-
мете для Али?

* * *

(Этот же Икс мне на Пасху 1918 г. подарил деревянного кустарного царя.)

Чесотка

Сейчас в Москве поветрие чесотки. Вся Москва чешется. Начинается между пальцами, потом по всему телу, подкожный клещ, где останавливается – нарыв. Бывает только по вечерам.

На службах надписи: «Рукопожатия отменяются». (Лучше бы – поцелуи!)

И вот недавно – в гостях, родственник хозяйки, тоже гость, настойчиво и с каким-то сдержанным волнением спрашивает хозяйку дома о том, как это, и что это, и с чего это начинается, и от чего кончается – и кончается ли.

И ее неожиданно прозревший возглас:

– Абраша, наверное, у тебя самого чесотка!

(«Чесотка» в ее представлении, очевидно, – сам клещ. Блохи, мухи, тараканы, клопы, чесотки.)

С уходящими под видом шутки никто не прощается за руку. Хозяин, во избежание, даже целуется. Гость противен – буржуй. Достаточно омерзителен и без чесотки. Гость – трус и воздержавшимся сочувствует. Чесотка – мерзость. И,

учитывая все, всю бессмысленность жеста и жертвы, в полном отчаянии и похолодании, не только протягиваю – но еще необычайно долго задерживаю его руку в своей.

Рукопожатие, воистину чреватое последствиями: тебе, Chesotочному, уверенность в моей благосклонности и посему (учитывая чесотку!) вдвойне бессонная ночь: мне, не Chesotочной, – чесотка и посему (учитывая твою уверенность!) тоже вдвойне бессонная ночь.

* * *

Как он спал, не знаю. Я, по крайней мере, не чесалась и не чешусь.

Fräulein⁴⁰

Голодная толчея Охотного ряда. Продают морковь и малиновые трясучки, на картонных поддонниках, мерзкие. Не сдавшиеся – спуют, безнадежные – слоняются. Вдруг – знакомый затылок: что-то редкое, русое... Опережаю, всматриваюсь: молочные глаза, печальный красноватый клюв – Fraulein. Моя учительница немецкого из моей последней гимназии.

– Guten Tag, Fraulein!⁴¹ – испуганный взгляд. – Не узнаете?

⁴⁰ Барышня, девушка (нем.).

⁴¹ Добрый день, фройляйн! (нем.)

Цветаева. Из гимназии Брюхоненко.

И она озабоченно:

– Цветаева? Куда же я вас посажу? – И, останавливаясь: – Да куда же я вас посажу?

– Ну, тетка, проходи, что ли!

* * *

Не вынесли – немецкие мозги!

Ночевка в коммуне

Сию в гостях. Просят сказать стихи. Так как в комнате коммунист, говорю «Белую гвардию».

Белая гвардия – путь твой высок...

За белой гвардией – еще белая гвардия, за второй белой – третья, весь «Дон», потом «Кровных коней» и «Царю на Пасху» – словом, когда опоминаюсь – 12 часов, а ворота моего дома непременно заперты.

Ночевать мне здесь нельзя – «порядочный дом», с прислугами, с родственниками, остается одно: идти на Собачью площадку и спать под звуки пушкинского фонтана. О чем объявляю – смеюсь, встаю и твердым шагом иду к двери. И, уже в дверях, певуче:

– Маринушка!

– Да?

– Вы серьезно собираетесь спать на улице?

– Совершенно.

– Но ведь это же...

– Да, очень, но...

– Тогда идемте к нам, в коммуну.

– Но, может быть, вам неудобно?

– Отчего? У меня отдельная комната.

– Тогда – спасибо.

Сияю, ибо, несмотря на весь внутренний авантюризм, верней: благодаря всему внутреннему авантюризму, весьма и весьма обхожусь без внешнего! (NB Из ночевки на коммунистической улице к ночевке в коммунистическом доме – авантюра все-таки – первое!)

Идем. Коммуна недалеко: великолепный каменный особняк, напоминающий Англию (никогда не была). Входим. Лестница с ковром. Тишина бархата. Тишина ночи. Мозолями рук по бархату перил. Проходим через пустую (и людьми, и едой) столовую, еще через несколько комнат – пришли. Похоже на полуторный номер гостиницы: комната, завораживая, образует крюк. Привиденский штофный занавес, за которым незримое окно из несомненно-цельного стекла – если не выбито Октябрем. Мебельная мелочь, вроде столиков, этажерок, жардиньерок. Низкая деревянная резная кровать, очень глубокая, очень разлтая. Для долгих лежаний,

для поздних вставаний. Для лени, для неги, для жиру, для всего, что ненавижу, – кровать!

– Вот здесь вы будете спать, Маринушка.

– А вы?

– А я на диване, в кабинете.

(Кабинет, очевидно, – сам крюк.)

– Нет, я на диване! Я обожаю на диване! Я дома всегда спала на диване! Даже на собачьем! Когда приезжала из пансиона! А собака, поняв, что я заснула, тоже лезла и самым наглым образом спала у меня на голове... Честное слово!

– Но вы не в пансионе, Маринушка!

– Не напоминайте мне, дружочек, где я!

Садимся. Курим. Беседуем. Уступает мне свой ужин: кусочек хлеба, три вареных свеклы и стакан чая с кусочком сахара.

– А вы?

– Я уже ужинал.

– Где? Нет, нет, вместе!

Говорим о стихах, о Германии, которую оба страстно любим, спрашивает о моей жизни.

– Вам очень трудно живется?

Смущаюсь, скрашиваю.

И он:

– Маринушка, Маринушка... Ну, я скоро получу немножко муки, я вам тогда принесу... Как все это ужасно!

Я:

– Да уверяю вас...

Он, думая вслух:

– Может быть, удастся достать немножко пшена...

(И беспомощно):

– А уехать на юг – совсем невозможно?

(Ответственный работник!)

Смотрю в лицо: прелестное, худое; в глаза: карие, в роговых очках. И такое сознание его невинности, неповинности, такое задохновение жалости и благодарности, что... но слезы уже текут, и он, испуганно:

– А вести с Юга у вас по крайней мере не плохие?

* * *

Сплю, конечно, на кровати – ни собаки, ни уверения не помогли. Перед сном еще перекликаемся.

– N! Вы бы хотели сейчас быть в Вене? Это – гостиница, сейчас 1912 г., выгляните – живая, школьная, ночная

Вена... и «Wienerblut»⁴²...

И он, протяжно:

– Ах, я ничего не знаю, Маринушка!

⁴² «Венская кровь» (нем.).

* * *

Просыпаюсь с солнцем. Быстро влезаю в свое широченное красное платье (цвета cardinal – пожар!). Пишу записку N. Осторожно открываю дверь и – о, ужас! – огромная двухспальная кровать, и на ней – спящие. Отступаю. Потом, внезапно решившись, большими тихими шагами направляюсь к противоположной двери, уже нажимаю ручку...

– Да что же это такое?!

На кровати сидящий мужчина – всклокоченная голова, расстегнутый ворот, смотрит.

И я, вежливо:

– Это я. Я случайно ночевала здесь и иду домой.

– Но, товарищ!..

– Ради Бога, извините. Я не думала, что... Я думаю, что...

Я, очевидно, не сюда попала...

И, не пережидая реплики, исчезаю.

* * *

(NB! Именно – *сюда!*)

* * *

Потом слышала от Н.: спящий принял меня за красное привидение. Призрак Революции, исчезающий вместе с первыми лучами солнца!

Рассказывая, безумно смеялся.

* * *

Только сейчас, пять лет спустя, по достоинству оцениваю положение: единственное, что я догадалась сделать, попав в коммуны, – это попасть в чужую спальню, единственное – вопреки всем призывам г<оспо>жи Коллонтай и К^о – у коммунистов – некоммунистического.

– «Plus royaliste que le Roi!»⁴³

(Пометка весной 1923 г.)

Воин христов

Раннее утро. Идем с Алей мимо Бориса и Глеба. Служба. Выходим, вслед за какой-то черной старушкой, по ступеням белого крыльца. Храм полон, от раннего часа и тишины впечатление заговора. Через несколько секунд явственно уша-

⁴³ Более роялист, чем король! (*фр.*)

ми слышу:

– ...Итак, братья, ежели эти страшные вести подтвердятся, как я только о том проведаю, ударит звонарь в колокол, и побегут по всем домам гонцы-посланцы, оповещая всех вас о неслыханном злодеянии. Будьте готовы, братья! Враг бодрствует, бодрствуйте и вы! По первому удару колокола, в любой час дня и ночи – все, все в храм! Встанем, братья, грудью, защитим святыню! Берите с собой малолетних младенцев ваших, пусть мужчины не берут оружия: возденем голые руки горе, с знаком молитвы, посмотрим – дерзнут ли они с мечом на толпу безоружных!

А ежели и это свершится – что ж, ляжем все, ляжем с чувством исполненного долга на ступенях нашего храма, до последней капли крови защищая Господа нашего и Владыку Иисуса Христа, покровителей храма сего и нашу несчастную родину.

– ...Набат будет частый, дробный, с явственными перерывами... Поясняю вам сие, братья, для того, чтобы вы, спронеся, не спутали его с пожарным колоколом. Как услышите в неурочный час непривычный звон, так знайте: зовет, зовет Господь!

Итак, дорогие братья...

И мое торопливое в ответ: «Дай Бог! Дай Бог, дай Бог!»»

Москва,

1918–1919

Смерть Стаховича

(27 февраля 1919 г.)

Мы с Алей у Антокольского⁴⁴. Воскресенье. Тает. Мы только что от Храма Спасителя, где слушали контрреволюционный шепот странников и – в маленьких шапочках – в шубах с «буфами» – худых и добрых – женщин-не женщин – дам-не дам, с которыми так хорошо на кладбище.

– «Погубили Россию»... «В Писании все сказано»... «Антихрист»...

Храм большой и темный. Наверху – головокружительный Бог. Островки свеч.

Антокольский читает мне стихи – «Пролог к моей жизни», которые бы я назвала «Оправданием всего». Но так как мне этого нельзя, так как я в данный час – русская, молчу молчанием резче и весче слов. Прощаемся. Аля надевает капор. В дверях студиец В. с каменным лицом.

– Я принес ужасную весть: Алексей Александрович Стахович вчера повесился.

⁴⁴ Поэт, ученик студии Вахтангова. (Примеч. М. Цветаевой.)

В церкви (у Страстного, названия не помню) стоял двойной пар от ладана и от дыхания. Каждый раз, чтобы креститься, я снимала варезку. Воск капал, слез у меня нет.

Вижу руки – из чего-то другого: не плоть, – сохранившие от живого только форму – восхитительную! Те самые, которыми прививал, в Крыму, розы и – розы кончились – закладывал, из гардинного шнура, петлю. Голова в тяжелом великолепии смерти. Веки – как занавесы: кончено, спущено. Если и есть страдание – то в висках. Остальное покоится.

Стою над гробом, близким ли, дальним ли, у меня непременно – вопрос: «Кто следующий?» Ведь буду же я так стоять над другим лицом? – Чьим? – Эта мысль во мне, как соблазн. Я знаю, что мертвый знает. Не вопрос, а допрос. И нескончаемость этого ответа...

Еще одно: кем бы ни был мне мертвый, верней: как мало бы я ему, живому, ни была, я знаю, что в данный час (с часа, кончающегося с часами) я ему ближе всех. Может быть – потому что я больше всех *на краю*, легче всех пойду (пошла бы) вслед. Нет этой стены: живой – мертвый, был – есть. Есть обоюдное доверие: он знает, что я вопреки телу – есть, я знаю, что он – вопреки гробу! Дружеский уговор, договор, заговор. Он только немножко старше. И с каждым уходящим уходит в *туда!* в *там!* – частица меня, тоски, души. Опере-

жая меня – домой. Почти как: «кланяйтесь тем-то»...

Но, воскресая с ним, я и умираю с ним. Я не могу плакать над гробом, потому что и меня закапывают! Некоей утерей своей земной достоверности плачусь за утверждение свое в мирах тех. (Плата за перевоз? Ведь платили же тени Харону? Я свою тень посылаю вперед – и *здесь* плачу!)

Еще об одном: как это близкие так мало ревнивы к гробу? Так легко уступают – хотя бы пядь. Секунды на земле сочтены и именно пядь дорога! Никогда не превышаю прав, оставляю пустоту вокруг гроба незаполненной – не семья – так никто! – но с такой горечью, с такой обидой за лежащего. (Гроб: точка стечения всех человеческих одиночеств, одиночество последнее и крайнее. Из всех часов – час, когда надо любить вблизи. Именно *над душой* стоять.)

Господи, будь он мой (то есть: имей я право!), как бы я стояла, и глядела, и целовала, как – когда все уйдут – говорила бы с ним – ему! – совсем простые вещи – может быть, о погоде – ведь он так недавно был! он еще не успел *не-быть!* как я бы ему в последний раз рассказала *землю*.

Я знаю, что его душа возле! Ушами же никто никогда ничего не слышал.

* * *

В церкви людно, никого не знаю. Помню седую голову Станиславского и свою мысль: «Ему, должно быть, холодно

без шапки» – и умиление над этой седой головой.

Из церкви его понесли в Камергерский. Толпа была огромная. Все чужие. Я шла, чувствуя себя наполовину мертвой, умирая с каждым шагом – от всех чужих вокруг, от него – одного – впереди. Толпа была огромная. Автомобили сворачивали с дороги. Я этим немножечко (за него) гордилась.

От Зубовской площади толпа начала редеть. В постепенности этого редения выяснилось, что за ним идет одна молодежь – студийцы II Студии – его «Зеленое кольцо». Они трогательно пели.

Когда улицы стали совсем чужими, а я уже не только тела не чувствовала, но – души, ко мне подошел В.Л. М<чеде>лов⁴⁵. Я ему безумно обрадовалась и сразу перенесла на него частичку своей нежности к Стаховичу. Я чувствовала – приказала себе почувствовать, – что он чувствует совсем как я, внушала ему это, всем своим самовнушением внушала – и если я когда-нибудь в жизни испытала чувство содружества, то именно в этот час, в снегах Девичьего Поля, за гробом Стаховича.

– Я тогда не сказал Вам этого. Помните? Вы в прошлом году написали мне письмо, где было несколько строк о нем: что-то о белой кости, о белой муке. Я ему прочел. Это произвело на него потрясающее впечатление. Он три дня ходил за мной следом, чтобы я ему их переписал...

⁴⁵ Режиссер II Студии, ныне тоже умерший. (Примеч. М. Цветаевой.)

Слушаю молча.

– Его очень любили, все к нему приходили во время болезни. За день до его смерти кто-то из студийцев принес ему котлету из конины. Воткнул вилку и, с усмешкой: «Может, свою же лошадку и ем»... У него ведь конские заводы были. Страстно любил лошадей.

– А как же все эти студийцы, все эти юноши, все эти молодые женщины? Как же они все-таки не...

– Не догадались?

– Не отстояли его у смерти?! Ведь в их руках: молодость, любовь – власть!

– Ах, Марина Ивановна! Жалость – не любовь. Особенно к старику. Стахович ненавидел жалость. «Я никому не нужный старик...»

Переходим на тротуар – курить. Пальцы еле держат папиросу. Была оттепель, стал буран.

– Он никакой записки не оставил?

– Нет, но в день своей смерти он еще был в театре, подошел ко мне, спросил: «Ну как, Вы еще не устроились?» – «Нет». – «Как жаль, как жаль», и сжал мои обе руки.

– А что это за маленький человек, который так плакал в церкви?

– Его камердинер, он раньше был буфетным мальчиком. За день до смерти он выдал ему жалованье за месяц вперед и награду. Перед смертью он заплатил все долги.

Доходим до кладбища. Божественная белизна Девичьего

Монастыря, успокоительный свод арки. (Об этом кладбище, в 1921 г., один мой спутник-еврей: «Стоит умереть, чтобы лежать здесь», и, после паузы: «Может быть, и – креститься».) Идем к могиле. Студийцы сами хотят опустить гроб, но гроб, сделанный в Художественном театре, слишком широк (я, мысленно, с усмешкой: барский!) – не проходит. Могильщики расширяют. К священнику, торопясь и заплетаясь, подходит монашка: «Батюшка, нельзя ли поскорей? Второй покойник у ворот».

Сугробы не расчищены, стою на могиле Сапунова, немного мучась тем, что это – ну – не по Стаховичу. Помню какую-то даму в трауре. Большие, стеклянные от слез, голубые глаза. Когда гроб опускают, крестит его вслед мелкими частыми крестиками.

Потом узнаю – актриса, у которой недавно в Киеве убили мать и сестру.

* * *

Гражданская панихида по Стаховичу (Художественный театр).

Сначала траурный марш Бетховена.

Стахович и Бетховен. Надо понять.

Первое, что чувствую, – несоответствие, второе – неловкость, как от нескромности. – В чем дело? – Слишком пышно... Слишком явно. – Ну?

Стахович – XVIII век, Бетховен – вне (всякого). Что соединило эти два имени? – Смерть. – Случайность смерти. Ибо для того, Стаховича, смерть всегда случайность. Даже вольная. Не завершение, а разрыв. Не авторское тире, а цензорские ножницы в поэму. Смерть Стаховича, вызванная 19-м годом и старостью, не соответствует сущности Стаховича – XVIII веку и молодости. Уметь умирать еще не значит любить бессмертье. Уметь умирать – суметь превозмочь умирание – то есть еще раз: *уметь жить*. Больше – и уже на французском (языке формул) скажу:

Pas de savoir-vivre sans savoir mourir⁴⁶.

Savoir-mourir, обратно savoir-vivre⁴⁷ – какое *русское* существительное! Счастлива, что следующей формулой ввожу его впервые:

Il n'y a pas que le savoir-vivre, il y a le savoir-mourir⁴⁸.

* * *

Но что же с Бетховеном и Стаховичем?

А! кажется, поняла. Стахович – более XVIII века, чем Бетховен, рожденный в нем, равно как траурный марш Бетховена больше смерть, чем лежащий в гробу Стахович. Смысл Стаховича (XVIII века!) – Жизнь. И в смертном дне, как

⁴⁶ Нет умения жить без умения умирать (*фр.*).

⁴⁷ Умение умирать обратно умению жить (*фр.*).

⁴⁸ Нет умения жить, есть умение умирать (*фр.*).

в любовном: «Point de lendemain!»⁴⁹ Стахович уходит *весь*. Бетховен – тот рай, в который дано войти Стаховичу. В траурном марше Бетховена, по отношению к Стаховичу, некая двойная грубость: *acte de deces*⁵⁰ (живому не играют!) и *acte d' abdication*⁵¹ (доиграл!).

Ясно ли то, что я хочу сказать?

– Ах, лучше всего бы меня понял сам Стахович!

* * *

Речь Станиславского:

«У друга было в жизни три любви: семья, театр, лошади. Семейная жизнь – тайна, в лошадях я не знаток... Я буду говорить о театре».

Рассказ о том, как впервые появился за кулисами Охотничьего клуба⁵², в великокняжеской свите, красавец адъютант Стахович. «Великие князья, как им и подобает, оставались недолго. Адъютант остался». – И постепенное – негласное – участие блестящего гвардейца в постановках – в роли *arbiter elegantiarum*⁵³. («Нужно будет спросить у Стаховича», «это не по Стаховичу», «как бы это сделал Стахович?») Поездка для

⁴⁹ Завтра не будет! (*фр.*)

⁵⁰ Констатация смерти (*фр.*).

⁵¹ Констатация отказа (*фр.*).

⁵² Первое помещение Художественного театра. (*Примеч. М. Цветаевой.*)

⁵³ Арбитр изящного; законодатель общественных вкусов (*лат.*).

изучения дворянского и крестьянского быта в подмосковное имение Стаховича. – «Мы были приняты по-царски». – Нежность Стаховича. – «Заболевал ли кто-нибудь из группы, кто оставался при больном в московской жаре и духоте? Блестящий великосветский гвардеец превращался тогда в самую заботливую няньку...» Рассказ о том, как Стахович, вырвавшись с придворного бала, прилетел на пять минут в Художественный театр, чтобы полаять по-собачьи в граммофонную трубу для постановки «Вишневого сада».

* * *

Говорят не так и не те. Станиславский – слишком просто (я бы даже сказала – простецки), сводя всего Стаховича к быту: сначала придворно-военному, потом театральному и, что хуже всего, – к Художественному театру: олицетворению его! – упуская элемент мятежа, толкнувшего придворного – в актерство, наивно смешивая обаяние над Стаховичем дерзкого слова «художественники» с влечением к Художественному театру, как к таковому, забывая и фон, и тон той удручающей эпохи, забывая *откуда* и только помня – *куда*.

Росси (в статье, которую читает другой) упрощает сложную лирико-цинико-стойко-эпикурейскую сущность Стаховича до русских дворянских гнезд и дает фельетон вместо поэмы. Южин – как общественное лицо и привыкшее хоронить таковых – неведомо зачем и почему припоминает грехи

дворянства и ставит на вид «общественную пользу Стаховичей» (ложь! совершенно бесполезны, как скаковая лошадь. Разве для тех, кто как я, на них *ставит*.).

Все – применительно: к театру ли, к общественности ли, к дворянству ли... Никто – вне: Стахович как явление.

Лучше всех – с волнением, смело, ни слова лишнего – говорит студиец Судаков. Одна фраза – совсем моя:

«И лучший урок *bon ton, maintien tenue*⁵⁴ нам дал Стахович 11-го марта 1919 г.». (27-го февраля – 11-го марта, день смерти.)

* * *

Слушаю, слушаю, слушаю. Все ниже и ниже опускаю голову, понимаю роковую ошибку этой зимы, каждое слово, как нож, нож все глубже и глубже, не даю себе дочувствовать, – ах, все равно – ведь я *тоже* умру!

И скажу еще одно, чего не говорит никто, что знают (?) все: Стахович и Любовь, о любовности этого *cause-ur'a*⁵⁵, о бессмысленности его вне любви.

И скажу еще одно, чего не знает никто: если бы на Рождестве 1918 г. я, как хотела, зашла к Стаховичу, он бы не умер. А я бы ожила.

⁵⁴ Хороших манер, выправки, осанки (*фр.*).

⁵⁵ Собеседника (*фр.*).

* * *

Стихов к нему мне на панихиде прочесть не дали. Были Каменева и еще кто-то. Н<емирович>-Д<анченко> кипятился и колебался: с одной стороны – «номер», с другой – камера.

...Вы не вышли к черни с хлебом-солью
И скрестились – от дворянской скуки! —
В черном царстве «трудовых мозолей» —
Ваши восхитительные руки...

– Вот, если бы это пропустить...

– Нельзя, это главное. – Но я не настаивала: Стаховича в зале не было.

Переписала эти стихи его милой сестре – единственной, кому они были нужны. Выступить для меня всегда превозможение, при моей брезгливости к зрелищам и общественности это законно! Не робость: некая недоуменная отчужденность: stranger hear⁵⁶.

* * *

...В черном царстве «трудовых мозолей...»

⁵⁶ Здесь в значении: инородное звучание (англ.).

Не о мозолях труда, о навязанных, глаза намозоливших и в ушах навязших, мозолях равенства – говорю. Потому и взяла в кавычки.

Моя встреча с Стаховичем

– Единственная. – Год назад. – Познакомил нас В Л. М<чеде>лов, с которым знакома давно, но подружились только прошлой зимой. Мне всегда нравилась в нем, человеку театра, эта падкость на иные миры: в человеке зрелища – страсть к незримому. Я прощала ему театр⁵⁷. На его постановке «Дневник Студии» (отрывок из Лескова, «История Лейтенанта Ергунова» и «Белые ночи») я была три-четыре раза – так нравилось! Помню в «Лейтенанте Ергунове», у него, у спящего лейтенанта, слезу. Большую, сонную. Текла и застыла. Жгла и остыла. Он походил на раненного в бою. На всю Белую армию. Потому, может быть, и ходила смотреть.

А комната – трущоба! – берлога! – где обольщает лейтенанта персияночка! Эта дрань, рвань, стклянь. Глаза по углам, узлы по углам. Эти ошметки, о плевки, обглодки. Эта комната, центр которой – туфля. Эта туфля посреди пола, царственным, по бесстрастию, жестом ноги отлетающая в потолок! Это отсутствие здравого смысла в комнате! От-

⁵⁷ Последующее о театре, как уже появившееся в печати, опускаю. (Примеч. М. Цветаевой.)

сутствие комнаты в комнате! Мой Борисоглебский живьем! Мое убранство. Моя уборка. Все мои семь комнат в одной. Скелет моего быта. Мой дом.

Помню персияночку (чертовку): шепота. Шепота – лепета – бормота. *Возле слов.* Наговаривает, наскazujeвает, названивает. Амулеты – браслеты. Под браслетами – лейтенантовы эполеты. Лепета – и бусы, соловьиные рокота – и руки. Руки, ручки.

* * *

Потом он повел меня на Стаховича – «Зеленое кольцо». О пьесе не сужу. Голос – большой обаятель. Единственный случай, когда я не верю ушам своим. (Театр.) Перевести фразу с голоса на мысль – осмыслить, осознать произносимое – не всегда успеваешь: плывешь по голосу. Голос – и чувство в ответ, вне промежутка слов. В театре слова не нужны, не важны – актер скользит по словам. (Лишнее доказательство правоты Гейне.) Бессмысленное а-а-а-а, о-о-о-о может целую толпу повергнуть в прах, повести на приступ. Равно как – при голосовой несостоятельности – ни Шекспиру, ни Расину не помочь. (Голос здесь не только как горло, но и как разум.) Откуда сей голосовой разум у сего всяческого кретинизма, коим зачастую является певец – другой вопрос, и заводящий далеко. Может быть – хороший маэстро, может быть – просто вмешательство богов. (Не меньше поэтов

и женщин льстятся на недостойные сосуды!) Словом, чтобы закончить о голосе:

Я – чудо: ни добро, ни худо.

А чтобы закончить о пьесе – ее знаю, я слушала Стаховича.

* * *

Стахович: бархат и барственность. Без углов. Голосовая и пластическая линия непрерывны. Это я о пятью чувствами воспринимаемом. Духовно же – некое свысока. Совсем не важно, что это по пьесе. Ясно, как зеркало, что играет себя. – «Малые мои дети» – это он не своим партнерам говорит, – нам всем, всему залу, всему поколению. «Милые мои дети», это читайте так: «Я устал, я все знаю, что вы скажете, все сны, которые вам еще будут сниться, я уже видел тысячелетия назад. И тем не менее, несмотря на усталость, выслушиваю: и исповеди, и отповеди. Снисходительность – не наименьшая ли из добродетелей Петрония? Кроме того, я, как все стареющие, бессонен. Ваши лепеты – не послужат ли они мне тем лепестковым потоком, в котором сомкнул, наконец, вежды мой более счастливый собрат?»

* * *

Этого ли хотел автор? Наверяд ли. Так, чарами сущности и голоса, образ очень местный (русского барина), очень словный (барина – очень) и очень временный (*fin du siecle*⁵⁸ прошлого века) превратился во вневременный и всеместный – вечный.

Образ прошлого, глядящегося в будущее.

* * *

После пьесы В.Л. М<чеде>лов повел меня знакомиться – куда-то вниз. Помню зелень и пар: мебель и чай. Стахович встает навстречу. Очень высокий рост (я из тех народов, что богов своих воспринимают великанами!) – гибкая прямизна, цвет костюма, глаз, волос – среднее между сталью и пеплом. Помню веки, из породы тяжелых, редко дораскрывающихся. Веки природно-высоко-мерные. Горбатый нос. Безупречный овал.

Сопровождающие лестные слова М<чеде>лова, и я, заставляя себя взглянуть прямо:

– Я очарована, но это Вы заранее знаете. Для этого Вам достаточно слышать себя. Ненавижу театр, но обожаю чары.

⁵⁸ Конца века (*фр.*).

Я сегодня очень счастлива. Всё.

Оба смеются. Смеюсь и я. И – рассеять, нет – затуманить определенность сказанного и слышанного – вроде как бы хвостом замести! – закуриваю. И – да простит мне Стахович это упоминание об одной из пленительнейших мною за жизнь слышанных обмолвок! – его испуганный возглас:

– Но зачем же волосы жечь?! Их у Вас и без того мало!

Я, праведно-возмущенная:

– Мало? Волос?

– Я хотел сказать – короткие.

Смеемся опять. Смех, в первые секунды, лучшая связь. Смех и легкая (чужая) погрешность. Присаживаюсь к столику. Пока наливает чай, люблююь рукой.

– Я очень люблю Ваши стихи. Когда мы были в Кисловодске, Качалов получил от вас стихотворение, без подписи...

Я, вскипая:

– ?!!

Стахович, чуть гася рукой, с улыбкой:

– Тщетная предосторожность, ибо Вас тотчас же узнали все. Купола, колокола... Прекрасные стихи. И архитектурно, и музыкально, и филологически – замечательно. Я тотчас же выучил их наизусть и на многих вечерах читал. – Всегда с успехом... (полупоклон), который всецело приписываю Вам...

Слушаю ошеломленно. Я – Качалову?! Забалованному купчихами? Я – Качалову – без подписи?! Без подписи?! –

Я?!!!

– Я очень люблю чтение поэтов. Вы бы мне их не прочли?

– Но...

И вдруг – безнадежность: Стахович эти стихи любит. Стаховичу 60 лет, и он превозмог отвращение к «современности». Стахович мне эти стихи – в упор – хвалит. И эти стихи – вдруг не мои! Все здание рушится. И под обломками – Стахович!

И, ничего не разоблачая, проглотив и аноним, и чужие стихи, и Качалова, – героически:

– Но я так плохо читаю... Как все поэты... Я никогда не решусь... (№. Хорошо читаю – как все поэты – и всегда решаюсь.)

– Такая Шарлотта Корде? Я никогда бы не заподозрил Вас в робости!

И я, облегченно (словесная игра! То, в чем не собьют!):

– Благодарю за честь, но разве я перед Маратом?

Смеется. Смеемся. Упрашивает. Отклоняю. Отвожу.

Что я ему скажу? Я тех стихов не знаю. Трагическая нелепость: здесь, где всё «да» – начинать с отказа! И, внезапно осеняясь:

– А может быть, Вы сами мне их скажете?

Он смущенно:

– Я... я их сейчас немножечко забыл.

(Я не писала, а он не помнит! «Направо поедешь – коня потеряешь, налево поедешь...»)

И – поворотом стремительным и бесповоротным:

– Будь я на месте Веры Редлих⁵⁹, я бы всю пьесу опрокинула!

– То есть?

– Вы на сцену – текст забыт, жених забыт...

– Вы так беспамятны?

– Нет, это Вы – незабвенны!

Стахович М<чеде>лову:

– О-о-о! Я и не знал, что это такое льстивое племя – поэты! Это обычно падало на бедные головы придворных!

– Каждый поэт – придворный: *своего* короля. Поэты всегда падки на величие.

– Как короли – на лесть.

– Которую я обожаю, ибо веду ее не от лицемерия, а от прелести – того, кому льстишь. Льстить – прельщаться. Льстить – льнуть. Иной лести не знаю. А Вы?

* * *

Потом расстались – кажется, обольщенные. (О себе – достоверно.) Потом написала письмо В.Л. М<чеде>лову, не имеющее никакого отношения к адресату, кроме адреса. (С даты до подписи – о Стаховиче и для Стаховича.) Потом забылось.

⁵⁹ Актрисы, по пьесе влюбленной в гимназиста. (Примеч. М. Цветаевой.)

Два месяца назад от Володи Алексеева⁶⁰ узнала о его болезни. Болен, скучает. Но мы виделись только раз, только час! Но – раз болен – семья, друзья... Близко не подойдешь, а проталкиваться не умею. (Не расступятся же!) Видение чужого дома, чужого быта. Родные, которые, никогда не видел меня раньше, будут разглядывать... Нарядные студийки – а я в таких башмаках...

Потом: для меня прийти (всегда, и особенно сейчас, в Революцию), для меня прийти – принести. Что я ему принесу? Свои пустые руки (никогда не аристократические, а сейчас – даже не человеческие!), пустые руки и переполненное сердце? Но последнего он – из-за первых (смущения моего!) не увидит. Даром измучаюсь и время отниму.

Но с каждым приходом Володи, жалобно: «Возьмите меня к Стаховичу!» Для меня достижимость желаемого (вещи ли, души ли) в обратном соотношении с желанностью его: чем желанней – тем недостижимей. Заранее. Заведомо. И не пытаюсь хотеть. Стахович у Страстного, стало быть – и Страстной – не Страстной и... даже Стахович – не Стахович. («Удивится... Рассердится...» Он, Петроний!)

Словом – не пошла.

⁶⁰ Актера III Студии, потом добровольца, в 1920 г. пропавшего без вести. (Примеч. М. Цветаевой.)

* * *

Еще одна фраза, на похоронах, М<чеде>лова: «Почему вы его никогда не навестили? Он был бы так рад. Он любил стихи, беседу, сам любил рассказывать, только его никто не хотел слушать... А было – что! У него ведь была необычайная жизнь. Столько встреч, путешествий... В молодости – война... И такие разные круги: придворные, военные, театр... И Вы ему тогда так понравились...»

* * *

16-го марта 1919 г.

Иду сейчас по улице. Немножко тает. Вдруг мысль: «В первый раз Москва весной без Стаховича...» (Не: «Стахович весной без Москвы», – мне подумалось именно так.)

Да, то был вальс прелестный, томный,

Да, то был ди-ивный вальс.

Он это часто пел, чудесно пел. Кончит – и неизменно:

Когда б я молод был,

Как бы я Вас любил!

– Алексей Александрович! Алексей Александрович! Да
ведь этого в романсе нет! Это Вы свое поете!

– Есть, есть! А если и нет – *se non e vero e ben trovato*⁶¹!

И никто не понимал!

(Рассказ студийки.)

Москва, февраль – март 1919

⁶¹ Если и неверно, то хорошо придумано! (*ит.*)

Чердачное

(Из московских записей 1919/1920 г.)

Пишу на своем чердаке – кажется, 10 ноября – с тех пор, как все живут по-новому, не знаю чисел.

С марта месяца ничего не знаю о С<ереже>, в последний раз видела его 18-го января 1918 года, как и где – когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает.

Живу с Алей и Ириной (Але 6 л<ет>, Ирине 2 г<ода> 7 м<есяцев>) в Борисоглебском переулке, против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, «одолженного» соседями – весь запас! – Анархист Шарль унес Сережины золотые часы «eleve de Breguet» – ходила к нему сто раз, сначала обещал вернуть их, потом сказал, что покупателя на часы нашел, но потерял от них ключик, потом, что ключик на Сухаревой подыскал, но покупателя утерял, потом, что, боясь обыска, отдал их кому-то на хранение, потом, что их – у того, кому он их отдал, – украли, но что он богатый господин и за такой мелочью не постоит, потом, обнаглев, начал кричать, что он за чужие вещи не отвечает. – В итоге: ни часов, ни денег. (Сейчас такие часы 12 т<ысяч>, т. е. 1 1/2 пуда муки.) То же с детскими весами. (Шарль же.)

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Гранского – худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом – мать пятерых детей – недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и «пышечку» для Али. Г<оспо>жа Г<ольд>ман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно «одолжила» мне третью тысячу У самой трое детей. Мала, нежна, затерта жизнью: нянькой, детьми, властным мужем, непреложным, как ход светил, распорядком обедов и ужинов. (У нас в доме – еда всегда комета!) Помогает мне, кажется, тайком от мужа, которого, как еврея и удачника, я – у которой все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело – естественно не могу не раздражать.

Помогают мне еще, изредка, вспоминая о моем существовании – и не виню, ибо знакомы без году неделя: актриса З<вягин>цева, потому что любит стихи, и ее муж, потому что любит жену. Принесли картофеля, муж несколько раз выламывал балки на чердаке и пилил.

Еще Р.С. Т<умар>кин, брат г<оспо>жи Ц<ет>лин, у которой я бывала на литературных вечерах. Дает спички, хлеб. Добр, участлив.

– И это все. —

Бальмонт рад бы, да сам нищий. (Зайдешь, кормит и поит всегда.) Его слова: «Я все время чувствую угрызения совести, чувствую, что должен помочь» – уже помощь. Люди не

знают, как я безмерно – ценю слова! (Лучше денег, ибо могу платить той же монетой!)

Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре. (Долго варила в нем хлебку, но однажды засорила пшеном так, что потом месяцами приходилось брать воду сверху, снимая крышку, ложкой, – самовар старинный, кран витиеватый, не вывинчивающийся, ни шпилькам, ни гвоздям не поддавался. Наконец кто-то – как-то – выдул.) Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки. Хожу и сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно-севшем, бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза, в Александрове. Все прожжено от падающих углей и папирос. Рукава, когда-то на резинке, скручены в трубу и заколоты булавкой.

Потом уборка. – «Аля, вынеси окаренок!» Два слова об окаренке – он их заслуживает. Это главное действующее лицо в нашей жизни. В окаренке стоит самовар, ибо, когда кипит с картошкой, заливает все вокруг. В окаренок сливаются все помои. Окаренок днем выносятся, а по ночам выплескивается мною во двор. Без окаренка – не жить. Угли – мучка от пилы – лужи... И упорное желание, чтобы пол был чистым! – За водой к Г<ольд-ма>нам, с черного хода: боюсь наткнуться на мужа. Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка! (И ведро, и жестянка – чужие, мое все укра-

дено.) Потом стирка, мытье посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки «для детского сада», короче: «Аля, готовь для мытья детский сад!» – чистка медной солдатской махотки и бидона для Пречистенки (усиленное питание, по протекции той же г<оспо>жи Г<ольд>ман) – корзиночка, где сумка с обеденными карточками – муфта – варежки – ключ от черного хода на шее – иду. Часы не ходят. Не знаю времени. И, набравшись духу, к прохожему: «Извините, не можете ли вы мне сказать, сколько сейчас, приблизительно, времени?» Если 2 часа – от сердца отлегло. (Кстати, как настоящее? Отлегает? Неблагозвучно.)

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, – Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб, – оттуда опять в детский сад, за обедом, – оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! – по черной лестнице – домой. – Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать ее с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие, съела из шкафа полкочна сырой капусты.) Кормлю и укладываю Ирину. Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не проходит. – Кипячу

кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся – застрявший в глубине – картофель. Укладываю – или Аля, или я – Ирину. Потом Аля спать идет.

В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом.

Пишу скверно, тороплюсь. Не записала ни ascensions⁶² на чердак – лестницы нету (спалили) – подтягиваюсь на веревке – за бревнами, ни *постоянных* ожогов от углей, которые (нетерпение? ожесточение?) хватаю прямо руками, ни беготни по комиссионным магазинам (не продалось ли?) и кооперативам (не выдают ли?).

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа – все стены исчерканы строчками стихов и NB для записной книжки. Не записала путешествий по ночам в страшный ледяной низ – в бывшую Алину детскую – за какой-нибудь книгой, которую вдруг безумно захотелось, не записала постоянной нашей с Алей настроенной надежды: «Не стучат ли? Кажется, стучат!» (Звонок не звонит с начала революции, вместо звонка – молоток. Мы живем наверху, за семью дверьми, и слышим все: каждый взвизг чужой пилы,

⁶² Подъем (*фр.*).

каждый взмах чужого топора, каждое хлопанье чужой двери, каждый шум во дворе – все, кроме стука в нашу дверь!) И – вдруг – кажется стучат! – или Аля, накинув синюю шубку, шитую, когда ей было два года, или я, не накинув ничего, – вниз, ощупью, вскачь, в полной темноте, сначала мимо лестницы без перил (спалили), потом по этой лестнице – к цепочке парадной двери. (Кстати, можно войти и без нашей помощи, только не все знают.)

Не записала своей вечной, одной и той же – теми же словами! – молитвы перед сном.

Но жизнь души – Алиной и моей – вырастет из моих стихов – пьес – ее тетрадок.

Я хотела записать *только день*.

* * *

Мы с Алей:

Аля:

– Марина! Сколько людей с такими прекрасными фамилиями я не знала! Например: Джунковский.

Я: – Это бывший московский генерал-губернатор (?), Алечка.

Аля: – А-а! Я знаю – губернатор. Это в Дон Кихоте – губернатор!

(Бедный Д<жунков>ский!)

* * *

Я рассказываю:

– Понимаешь, такая старая, старинная, совсем не смешная. Иссохший цветок – роза! Огненные глаза, гордая посадка головы, бывшая жестокая красавица. И все осталось – только вот-вот рассыплется... Розовое платье, пышное и страшное, потому что ей 70 лет, розовый парадный чепец, крохотные туфельки. Под вострым каблучком тугая атласная подушка – розовая же – тяжелый, плотный, скрипучий атлас... И вот, под удар полночи – явление жениха ее внучки. Он немножко опоздал. Он элегантен, галантен, строен – камзол, шпага...

Аля, перебивая:

– О, Марина! – Смерть или Казанова!

(Последнего знает по моим пьесам «Приключение» и «Феникс».)

* * *

– Алечка, какое должно быть последнее слово в «Бабушке»⁶³? Ее последнее слово – вздох, вернее! – с которым она умирает?

⁶³ Пьеса, которую я не дописала и потеряла. (Примеч. М. Цветаевой.)

– Конечно – Любовь!

– Верно, верно, совершенно верно, только я подумала:

Амур.

Объясняю ей понятие и воплощение:

– Любовь – понятие, Амур – воплощение. Понятие – общее, круглое, воплощение – острое, вверх! все в одной точке. Понимаешь?

– О, Марина, я поняла!

– Тогда скажи мне пример.

– Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны.

– Ничего, ничего, говори. Если будет неверно, скажу.

– Музыка – понятие, голос – воплощение. (Пауза.) И еще: доблесть – понятие, подвиг – воплощение. – Марина, как странно! Подвиг – понятие, герой – воплощение.

* * *

– Аля! Какая прекрасная вещь – сон!

– Да, Марина, – и еще: бал!

* * *

– Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и, вдруг, со строящегося дома – камень на голову! – готово.

Аля, чуть позабавленно:

– Нет, Марина, мне это не особенно нравится, камень...

Вот если бы – все здание!

* * *

Аля, перед сном:

– Марина! Желаю вам всего лучшего, что есть на свете.

Может быть: что еще есть на свете...

* * *

Если эта зима пройдет, я действительно буду fort comme la mort⁶⁴ – или просто morte⁶⁵ – без fort⁶⁶ – с e-muet⁶⁷ на конце.

* * *

Гастрономические магазины сейчас похожи на витрины парикмахерских: все эти сыры – желе – пасхи ничуть не живее восковых кукол.

Та же легкая жуть.

⁶⁴ Сильна как смерть (*фр.*).

⁶⁵ Мертвая (*фр.*).

⁶⁶ Сильный (*фр.*).

⁶⁷ Окончание женского рода во французском языке.

О, «Wahrheit und Dichtung»⁶⁸! И останавливаюсь, ибо в этом возгласе столько же восторга, сколько неудовлетворенности. Гёте захотел одновременно дать историю своей жизни и своего развития, и это у него не слилось. Целые места, точно вставленные – «hier gedenke ich mit Ehrfurcht eines gewissen X-Y-Z»⁶⁹ – и так десятки страниц подряд. Если бы он вплел этих «treffliche Gelehrte»⁷⁰ в свою жизнь, заставил бы их входить в комнату, двигаться, говорить, не получалось бы местами такой схематичности (нарочитости): вот человек вздумал отблагодарить всех, кто способствовал его развитию – и перечисляет. Не скучно – все значительно, но сам Гёте как-то уходит, уже не видишь его черных глаз...

Но зато – о Господи! – прогулки, мальчиком, по Франкфурту – дружба с маленьким французом – история с художником и мышью – театр – отношения с отцом – Гретхен («Nicht kiissen, s'ist was so gemeines, aber lieben, wenn's möglich ist!»⁷¹) – их ночные встречи в погребке – Гёте в Лейпциге – уроки танцев – Sesenheim – Фредерика – луна...

О, когда я читала эту сцену с переодеванием, у меня серд-

⁶⁸ «Поэзия и правда» (нем.).

⁶⁹ Здесь я с благоговением вспоминаю некоего X-Y-Z (нем.).

⁷⁰ Превосходных ученых (нем.).

⁷¹ «Не целоваться – это так пошло, но любить, если возможно!» (нем.)

це задрожало оттого, что это – Фредерика, а не я!

Уют этого старого полукрестьянского дома – пастор – игры в фанты – чтения вслух...

Я сегодня из-за всего этого никак не могла решиться встать с постели: так не хотелось жить!

* * *

О, как бы я воспитала Алю в XVIII веке! Какие туфли с пряжками. Какая фамильная библия с застежками! И какой танцмейстер!

* * *

Сейчас, наверное, из-за топора и пилы, куда меньше enfants с Gamour⁷²! Впрочем, пилит и рубит только интеллигенция (мужики не в счет! им все нипочем!), а интеллигенция и раньше никогда не блистала ни enfants, ни amour.

* * *

Недавно на Смоленском: дородная простонародная девка – роскошная шаль крест-накрест, походка бедрами – и маленькая сухонькая приживалка – язва! Сухонький перст

⁷² Детей любви (фр.).

впился в высокую грудь девки. Заискивающий шепот: «Что это у вас – свининка?»»

И девка, еще глубже запахиваясь в шаль, высокомерно: «Триста восемьдесят».

* * *

А сегодня, например, я целый день ела, а могла бы целый день писать. Я совсем не хочу умереть с голоду в 19-ом году, но еще меньше хочу сделаться свиньей.

* * *

От природы не терплю запасов. Или съем, или отдам.

А можно, чтобы не было страшно, вообразить себе так: хлеб стоит не 200 руб<лей>, а, как прежде, 2 коп<ей-ки>, но у меня этих двух копеек нет – и никогда не будет.

И царь по-прежнему в Царском Селе – только я никогда не поеду в Царское Село, а он – в Москву.

* * *

Господи! Сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как не ошельмовывает! кто чего на что не выменивает!) – Коробочек («а почему сейчас в городе мертвые души?»),

«а почему сейчас на рынке дамские манекены?»: я, например) – Маниловых («Храм Дружбы» – «Дом Счастливой Матери») – Чичиковых (природный спекулянт!).

А Гоголя нет. Лучше бы наоборот.

* * *

И так же редки – как его? этот с армянской фамилией, – идзе или – адзе, из и части, такой ирреальный, что я даже имени его не запомнила!

* * *

Есть рядом с нашей подлой жизнью – другая жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная: жизнь Церкви. Те же слова, те же движения – все, как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены.

Мы слишком мало об этом помним.

* * *

«Уже не смеется».

(Надпись на моем кресте.)

* * *

Я восприняла 19-ый год несколько преувеличенно – так, как его воспримут люди через сто лет: ни пылинки муки, ни солины соли (золинок и соринок хоть отбавляй!) – ни крупинки, ни солины, ни обмылка! – сама чищу трубы, сапоги в два раза больше ноги, – так какой-нибудь романист, с возмущением в ущерб вкусу, будет описывать 19-ый год.

* * *

Моя комната. – Ведь я когда-нибудь из нее уеду (?). Или я уже никогда, ни-ког-да ничего не увижу другого, раскрыв глаза, чем: высокое окно в потолке – окаренок на полу – по всем стульям тряпки – топор – утюг (утюгом колочу по топору) – г<ольд>мановская пила...

* * *

Люди, когда приходят, только меня растрavляют: «Так нельзя жить. Это ужасно. Вам нужно все продать и переехать».

Продать! – Легко сказать! – Все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились – поэтому их никто не по-

купает.

19-ый год, в быту, меня ничему не научил: ни бережению, ни воздержанию.

Хлеб я так же легко беру – ем – отдаю, как если бы он стоил 2 копейжи (сейчас 200 руб<лей>). А кофе и чай я всегда пила без сахара.

* * *

Есть ли сейчас в России – Розанов умер – настоящий созерцатель и наблюдатель, который мог бы написать настоящую книгу о голоде: человек, который хочет есть, – человек, который хочет курить, – человек, которому холодно, – о человеке, у которого есть и который не дает, о человеке, у которого нет и который дает, о прежних щедрых – скаредных, о прежних скупых – щедрых, и, наконец, обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной – как дуб – как волк – как Бог – среди всяческих чум Москвы 19-го года.

Я бы написала – если бы не завиток романтика во мне – не моя близорукость – не вся моя особенность, мешающие мне иногда видеть вещи такими, какие они есть.

* * *

– О, если бы я была богата! —

Милый 19-ый год, это ты научил меня этому воплю! Раньше, когда у всех все было, я и то ухитрялась давать, а сейчас, когда ни у кого ничего нет, я ничего не могу дать, кроме души – улыбки – иногда полена дров (от легкомыслия!) – а этого мало.

О, какое поле деятельности для меня сейчас, для моей ненасытности на любовь. Ведь на эту удочку идут все – даже самые сложные! – даже я! Я, например, сейчас определенно люблю только тех, кто мне дает – обещает и не дает – все равно! – хотя бы минуточку – искренно (а может быть, и неискренно, – наплевать!) *хотел* бы дать.

Фраза, поэтому и весь смысл, по причуде пера и сердца, могла бы пойти иначе, и тоже была бы правда.

Раньше, когда у всех все было, я все-таки ухитрялась давать. Теперь, когда у меня ничего нет, я все-таки ухитрюсь давать.

– Хорошо?

* * *

Даю я, как все делаю, из какого. то душевного авантюризма – ради улыбки – своей и чужой.

* * *

Что мне нравится в авантюризме? – Слово.

* * *

Бальмонт – в женском шотландском крест-накрест платке – в постели – безумный холод, пар колом – рядом блюдце с картошкой, жаренной на кофейной гуще.

– О, это будет позорная страница в истории Москвы! Я не говорю о себе, как о поэте, я говорю о себе, как о труженике. Я перевел Шелли, Кальдерона, Эдгара По... Не сидел ли я с 19-ти лет над словарями, вместо того чтобы гулять и влюбляться?! – Ведь я в буквальном смысле – голодаю. Дальше остается только голодная смерть! Глупцы думают, что голод – это тело. Нет, голод – душа, тотчас же всей тяжестью падает на душу. Я угнетен, я в тоске, я не могу писать!

Я прошу у него курить. Дает мне трубку и велит мне не развлекаться, пока курю.

– Эта трубка требует большого внимания к себе, поэтому советую вам не разговаривать, ибо спичек в доме нет.

Курю, т. е. тяну изо всей силы, – трубка как закупоренная – дыму 1/10 доля глоточка – от страха, что потухнет, не только не говорю, но и не думаю – и – через минуту, облегченно:

– Спасибо, накурилась!

*Москва, зима
1919–1920*

О любви

(Из дневника)

1917 г.

Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо что – дыхание, как не ритм души?

Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом.

* * *

Благородство сердца – органа. Неослабная настороженность. Всегда первое бьет тревогу. Я могла бы сказать: не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь.

* * *

Сердце: скорее орган, чем орган.

Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр – всё, только не хронометр любви.



«Вы любите двоих, значит, Вы никого не любите!» – Простите, но если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же не скажете, что я того, первого, не люблю. Значит, любить одновременно живого и мертвого – можно. Но представьте себе, что Генрих Гейне ожил и в любую минуту может войти в комнату. Я та же, Генрих Гейне – тот же, вся разница в том, что он *может войти в комнату*.

Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту может войти в комнату, – не любовь. Для того чтобы одновременная моя любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). – Не всегда выполнимое условие!

И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, немыслима, и крик Сары (Маргариты Готье) – «О, л'Амур! л'Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее молодого друга, – смешон.

Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит, – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.

* * *

Старики и старухи.

Бритый стройный старик всегда немножко старинен, всегда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой – и вся невозможность. Есть такая песенка Беранже:

...Взгляд твой зорек...

Но тебе двенадцать лет,

Мне уж сорок.

Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, а главное – совсем не смешно. Во всяком случае, менее смешно, чем большинство так называемых «равных» браков. Возможность настоящего пафоса.

А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае – трогательна. Исключение: актрисы. Старая актриса – мумия розы.

* * *

– ...И была промеж них такая игра. Он ей поет – ее акку-

рат Марусей звали – «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза», а она на постелю ляжет, простынею себя накроет – как есть покойница. Он к ней: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду не умри!» – Каждый раз до слез доходил. – На одной фабрике работали, ей пятнадцать годочков было, ему шешнадцать...

(Рассказ няньки.)

* * *

– А у меня муж, милые: бы – ыл!!! Только и человеккого, что обличив. Ничего не ел, всё пил. Подушку мою пропил, одеяло с девками прогулял. Всё ему, милые, скуплю: и работать скуплю, и со мной чай пить скушно. А собой хорош, как демон: волоса кучерявые, брови ровные, глаза синие... – Пятый год пропадает!

(Нянька – подругам.)

* * *

Первый любовный взгляд – то кратчайшее расстояние между двумя точками, та божественная прямая, которой нет второй.

* * *

Из письма:

«Если бы Вы сейчас вошли и сказали: «Я уезжаю надолго, навсегда», – или: «Мне кажется, я Вас больше не люблю», – я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет, – Вас нет навсегда и Вы меня не любите».

* * *

В моих чувствах, как в детских, нет степеней.

* * *

Первая победа женщины над мужчиной – рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа – рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь – моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно.

* * *

Все нерассказанное – непрерывно. Так, непокаянное

убийство, например, – *длится*. То же о любви.

* * *

Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого. то любите? Тогда говорите о нем: «Я его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что это значит.

* * *

Рассказ.

– Когда мне было восемнадцать лет, в меня был безумно влюблен один банкир, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый такой, но удивительно трогательный. Мы почти никогда не оставались одни, но когда это случалось, он мне говорил только одно слово: «Живите! Живите!» – И никогда не целовал руки. Однажды он устроил вечер, нарочно для меня, назвал прекрасных танцоров – я тогда страшно любила танцевать! Сам он не мог танцевать, потому что был слишком толст. Обыкновенно он на таких вечерах играл в карты. В этот вечер он не играл.

(Рассказище тридцать шесть лет, пленительна.)

* * *

– «Только живите!» Я уронила руки,
Я уронила на руки жаркий лоб...
Так молодая Буря слушает Бога
Где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.

И на высокий вал моего дыханья
Властная вдруг – словно с неба ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
Так молодую Бурю слушает – Бог.

(Nachhall, отзвук.)

* * *

Гостиная – поле, вчерашняя смолянка – Буря, толстый банкир – Бог. Что уцелело? Да вот то одно слово, которое банкир говорил институтке и Бог в первый день – всему: «Живите!»

«Будь» единственное слово любви, человеческой и божеской. Остальное: гостиная, поле, банкир, институтка – частности.

Что же уцелело? – Всё.

* * *

Лучше потерять человека *всем собой*, чем удержать его какой-то своей сотой.

Полководец после победы, поэт после поэмы – куда? – к женщине. Страсть – последняя возможность человеку высказаться, как небо – единственная возможность *быть* – буре.

Человек – буря, страсть – небо, ее растворяющее.

* * *

О, поэты, поэты! Единственные настоящие любовники женщин!

* * *

Желание вглубь: вглубь ночи, вглубь любви. Любовь: провал во времени.

* * *

«Во имя свое» любовь через жизнь, «во имя твое» – через смерть.

* * *

«Старуха... Что я буду делать со старухой??!» – Восхитительная – в своей откровенности – формула мужского.

* * *

«Зачем старухи одеваются? Это бессмысленно! Я бы заказал им всем одинаковый... «юниформ», а так как они все богаты, я бы создал кассу, из которой бы одевал – и очень хорошо одевал бы! – всех молодых и красивых».

– Не мешай мне писать о тебе стихи!

– Помешай мне писать стихи о себе!

В промежутке – вся любовная гамма поэта.

* * *

Третье лицо – всегда отвод. В начале любви – от богатства, в конце любви – от нищеты.

* * *

История некоторых встреч. Эквилибристика чувств.

* * *

Рассказ юнкера: «...объясняюсь ей в любви, конечно, напеваю...»

* * *

Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство – мужественно.

* * *

Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы – и сколько нематеринских – на детские!

* * *

Страстная материнская любовь – не по адресу.

Там, где я должна *думать* (из-за других) о поступке, сочинять его, он всегда нецелен – начат и не кончен – не объяснит – не мой. Я точно запомнила А и не помню Б – и сразу, вместо Б – мои блаженные иероглифы!

* * *

Разговор:

Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына... Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу!»

Он, спокойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете».

* * *

О Песни Песней:

Песнь Песней действует, на меня, как слон: и страшно, и смешно.

* * *

Песнь Песней написана в стране, где виноград – с булыжник.

* * *

Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной. единственной женщине. (Неоткрытую Америку – вклю-

чая.)

* * *

Лучшее в Песни Песней, это стих Ахматовой:

«А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней».

* * *

«Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица».

* * *

Вдова, выходящая замуж. Долго искала формулу для этой отвращающей меня узаконенности. И вдруг – в одной французской книге, очевидно, женской (автора «Amitie amoureuse»⁷³) – *моя* формула:

«Le remariage est un adultere posthume»⁷⁴.
– Вздохнула!

⁷³ «Любовная дружба» (*фр.*).

⁷⁴ Второй брак – это посмертный адюльтер (*фр.*).

Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же.

Жен много, любовниц мало. Настоящая жена от недостатка (любовного), настоящая любовница – от избытка. Люблю не жен и не любовниц – «amoureuses»⁷⁵.

Как музыкант – меньше музыки! И как любовник – меньше любви!

* * *

(NB «Любовник» и здесь и впредь как средневековое обширное «amant». Минуя просторечие, возвращаю ему первичный смысл. Любовник: тот, кто любит, тот, через кого явлена любовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, а может быть – за тысячу верст. – Любовь не как «связь», а как стихия.)

* * *

«Есть две ревности. Одна (наступательный жест) – от себя, другая (удар в грудь) – в себя. Чем это низко – вонзить в себя нож?»

(Бальмонт.)

⁷⁵ Возлюбленная (*фр.*).

* * *

Я должна была бы пить Вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.

* * *

Как медленно сходятся с Вами такие-то! Они делают миллиметры там, где я делала – мили!

* * *

Зачем змей, когда Ева?

Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда – от всего.

* * *

Ночной разговор.

Павел Антокольский⁷⁶: – У Господа был Иуда. А кто же у Дьявола – Иуда?

Я: – Это, конечно, будет женщина. Дьявол ее полюбит, и она захочет вернуть его к Богу, – и вернет.

⁷⁶ Поэт, ученик Студии Вахтангова. (Примеч. М. Цветаевой.)

Антокольский: – А она застрелится. Но я утверждаю, что это будет мужчина.

Я: – Мужчина? Как может мужчина предать Дьявола? У него же нет никакого доступа к Дьяволу, он Дьяволу не нужен, какое дело Дьяволу до мужчины? Дьявол сам мужчина. Дьявол – это вся мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, то есть женщиной.

Антокольский: – И найдется мужчина, который припишет себе честь этого завоевания.

Я: – И знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: – «Ты его любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу». – И она вернет...

Антокольский: – И разлюбит.

Я: – Нет, *она* не разлюбит. *Он* ее разлюбит, потому что теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому.

Антокольский: – И, смотря в его глаза, увидит, что все те же глаза, и что она сама побеждена – Дьяволом.

Я: – Но был же час, когда Дьявол был побежден, – час, когда он вернулся к Богу.

Антокольский: – И предал его – мужчина.

Я: – Ах, я говорю о любовной драме!

Антокольский: – А я говорю об имени, которое останется на скрижалях.

Я: – Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вдоха (глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales Handwerk»⁷⁷! Как раз по вертикали!

Антокольский: – А мужчина хочет – так: (Выброшенная рука. Прыжок.)

Я: – Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – мужчина! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo... Нет, у всех лучше...

Но дальше. Итак, женщина идет по пути вдоха... Женщина, это вдох. Мужчина, это жест. (Вдох всегда раньше, во время прыжка не дышат.) Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.

Антокольский: – А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?

Я: – Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью.

⁷⁷ Горизонтальное ремесло (нем.).

* * *

Я, робко: – Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем, – мыслью?

Антокольский, еще более робко: – Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.

* * *

Я: – Два отношения к миру: любовное, материнское.

Антокольский: – И у нас два: любовное, сыновнее. А отцовского – нет. Что такое отцовство?

Я: – Отцовства вообще нет. Есть материнство: – Мария – Мать – большое М.

Антокольский: – А отцовство – большое О, то есть нуль, зеро.

Я, примиряюще: – А зато у нас нет дочернего.

Говорим о любви.

Антокольский: – Любить Мадонну – все равно что застраховаться от кредиторов. (Кредитора – женщины.)

Говорим о Иоанне д'Арк, и Антокольский, внезапным взрывом:

– А королю совсем не нужно царства, он хочет то, что больше царства – Иоанну. А Вам... А ей до него нет никако-

го дела: – «Нет, ты должен быть королем! Иди на царство!» – как говорят: «Иди в гимназию!»

* * *

Насыщенный раствор. Вода *не может* растворить больше. Таков закон. Вы – насыщенный мною раствор.

Я – не бездонный чан.

* * *

Нужно научиться (мне) подходить к любовному настоящему человека, как к его любовному прошлому, то есть – со всей отрешенностью и страстностью творчества.

Соперник всегда – или Бог (молишься!) – или дурак (даже не презираешь).

* * *

Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.

* * *

1918 г.

Суд над адмиралом Щастным. Приговор произнесен. Подсудимого уводят. И, уходя, вполоборота, в толпу: «Вы придете?»»

Женское: – Да!

* * *

Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда – в любовь.

* * *

«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминание о любви».

Я: – Причем середина длится от 5-ти лет до 75-ти – да?

* * *

Письмо:

«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу, наконец, к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит – внук не ешь!) – нельзя оспаривать право человека на воздух. Мой воздух с людьми – восторг. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко, Вы раздражены, Вы “измучены”, кто-то звонит, Вы лениво подходите: “Ах, это Вы?” И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна (не для меня – без Вас, для меня – с собой), одних снов за три ночи – тысяча и один, а я их и днем вижу!

Вы говорите: “Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю”. Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) – я уже не существую.

Дом – сплошной “нелад”, жара – каждое лето, а большевики только начинаются!

Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».

* * *

Тут, дружок, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны – летела с нью-йоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда. (Аля, двух лет, говорила: горблюд!)

* * *

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть человека таким, каким его осуществили родители.

Разлюбить – видеть вместо него: стол, стул.

* * *

Семья... Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется... Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат... (сын, отец...)» А любовнику этого не скажешь – ни за что – язык отрежешь.

В крови гнездящееся *право интонации*.

* * *

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

* * *

Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.

Говорить о внешности в *моих* случаях – неразумно: дело так явно, и настолько – не в ней!

– «Как она Вам нравится внешне?» – А *хочет* ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю – на такую оценку!

Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я: незримое.

Чтите оболочку, осчастливленную дыханием Бога.

И идите: любить – другие тела!

* * *

(Если бы я эти записи напечатала, непременно сказали бы: *par dépit*⁷⁸.)

Письмо о Лозэне⁷⁹:

«Вы хотите, чтобы я дала Вам краткий отчет о своей последней любви. Говорю «любви», потому что не знаю, не даю

⁷⁸ С досады (*фр.*).

⁷⁹ Герое моей пьесы «Фортуна». (Примеч. М. Цветаевой.)

себе труда знать... (Может быть: все, что угодно, – только не любовь! Но – все, что угодно!)

Итак: во-первых – божественно хорош, во-вторых – божественный голос. Обе сии божественности – на любителя. Но таких любителей много: все мужчины, не любящие женщин, и все женщины, не любящие мужчин.

Он восприимчив, как душевно, так и наочно, это его главная и несомненная сущность. От озноба до восторга – один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего Вы не сказали и может быть и не сказали бы... если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он не желая заставляет Вас быть таким, каким ему удобно. («Угодно» здесь неуместно – ему ничего не угодно.)

Добр? Нет. Ласков? Да.

Ибо доброта – чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты – ласковость, любви – расположение, ненависти – уклонение, восторга – любование, участия – сочувствие. Взамен *присутствия* страсти – *отсутствие* бесстрастия (пристрастности присутствия – бесстрастие отсутствия).

Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.

– А в любви?

Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово «любовь» его – как-то – режет. Он во-

обще боится слов, как вообще – всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой».

* * *

«Люби меня, как тебе угодно, но проявляй это так, как удобно мне. А мне удобно, чтобы я ничего не *знал*».

Воля в зле? Никакой. Вся прелесть и вся опасность его в глубочайшей невинности. Вы можете умереть, он не справится о вас в течение месяцев. И потом, растерянно: «Ах, как жаль! Если бы я знал, но я был так занят... Я не знал, что так сразу умирают...»

Зная мировое, он, конечно, не знает бытового, а смерть такого-то числа, в таком-то часу – конечно, быт. И чума – быт.

Но есть у него, взамен всего, чего нет, одно: воображение. Это его сердце, и душа, и ум, и дарование. Корень ясен: восприимчивость. Чужая то, что в нем видите вы, он становится таким.

Так: денди, демон, баловень, архангел с трубой – он все, что вам угодно, только в тысячу раз пуще, чем хотели вы. Игрушка, которая мстит за себя. *Objet de luxe et d'art*⁸⁰ – и горе вам, если это *objet de luxe et d'art* станет вашим хлебом

⁸⁰ Предмет роскоши и искусства (*фр.*).

насушным!

– Невинность, невинность, невинность! —

Невинность в тщеславии, невинность в себялюбии, невинность в беспамятности, невинность в беспомощности. . .

Есть, однако, у этого невиннейшего и неуязвимейшего из преступников одно уязвимое место: безумная – только никогда не сойдет с ума! – любовь к няне. На этот раз навсегда исчерпалась вся его человечность.

Итог – ничтожество, как человек, и совершенство, как существо.

* * *

Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия – и соблазн Чужого.

Москва,

1918–1919

О благодарности

(Из дневника 1919 г.)

Когда пятилетний Моцарт, только что отбежав от клавирина, растянулся на скользком дворцовом паркете, и семилетняя Мария-Антуанэтта, единственная из всех, бросилась к нему и подняла его – он сказал: «Celle-je l'eprouserai», и когда Мария-Тереза спросила его, почему, – «Par reconnaissance»⁸¹.

Скольких она и потом, Королевой Франции, поднимала с паркета – всегда скользкого для игроков – честолюбцев – кутил, – крикнул ли ей кто-нибудь – par reconnaissance – «Vive la Reine!»⁸², когда она в своей тележке проезжала на эшафот.

* * *

Reconnaissance – узнавание. Узнавать – вопреки всем личинам и морщинам – раз, в какой-то час узренный, настоящий лик.

(Благодарность.)

⁸¹ Я на ней женюсь... Из благодарности (фр.).

⁸² Из благодарности – «Да здравствует королева!» (фр.)

* * *

Я никогда не бываю благодарной людям за поступки – *только* за сущности! Хлеб, данный мне, может оказаться случайностью, сон, виденный обо мне, всегда сущность.

* * *

Я беру, как я даю: слепо, так же равнодушная к руке дающего, как к своей, получающей.

Оскорбительно для меня, следовательно, и для другого.

* * *

Добрая воля, направленная на меня, никогда ничего не предрешала. Личность (направленность на меня) дара, в моем восприятии дара, отсутствует. Я благодарна не за себя и не за соседа, я благодарна.

* * *

Меня не купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только сущностью. (То есть – сущность мою!) Хлебом вы купите: лицемерие, лжеусердие, любезность, – всю мою пену...

если не накипь.

Купить – откупиться. От меня не откупишься.

* * *

Купить меня можно – только всем небом в себе! Небом, в котором мне, может быть, даже не будет места.

* * *

Благодарна я вне-лично, то есть лишь там, где я, помимо доброй воли человека и без его ведома, могу взять сама.

* * *

Отношение не есть оценка. Это я устала повторять. Оттого, что ты мне дал хлеба, я, может быть, стала добрее, но ты от этого не стал прекрасней.

* * *

Поступок не есть отношение, отношение не есть оценка, оценка (критиком, например, Блока) не есть сущность (Блок).

Сущность – умысел, слышна только слухом.

* * *

Кусок хлеба от противного человека. Удачный случай. Не больше.

* * *

Ем ваш хлеб и поношу. – Да. —

Только корысть – благодарна. Только корысть мерит целое (сущность) по куску, данному ей. Только детская слепость, *глядящая* в руку, утверждает: «Он дал мне сахару, он хороший». Сахар хороший, да. Но оценивать сущность человека по сахарам и «чаям», от него полученным, простительно только детям и прислугам: инстинкту.

Да и то нет: мы часто наблюдаем собак, предпочитающих господина своего, ничего не дающего, – кухарке, кормящей.

Отождествлять источник благ с благами (кухарку – с мясом, дядю – с сахаром, гостя – с чаевыми) признак полной неразвитости души и мысли. Существо, не пошедшее дальше пяти чувств.

Собака, любящая за то, что гладят, выше кошки, любящей за то, что гладят, и кошка, любящая за то, что гладят, выше ребенка, любящего за то, что кормят. Все дело в степенях.

Так, от простейшей любви за сахар – к любви за ласку –

к любви при виде – к любви не видя (на расстоянии)⁸³, – к любви, невзирая (на нелюбовь), от маленькой любви *за* — к великой любви *вне* (меня) – от любви получающей (волей другого!) к любви берущей (даже помимо воли его, без ведома его, против воли его!) – к *любви в себе*.

* * *

Чем старше мы, тем большего мы хотим: в младенчестве – только сахара, в юности – только любви, в старости – только (!) сущности (тебя вне меня).

* * *

Чем меньше мы внешние блага ценим, тем легче мы их даем и берем, тем меньше мы за них благодарны.

* * *

(Практически: благодарность за хлеб (даяние) я допускаю только молчаливую. В явной – нечто устыжающее дающего, какой-то укор.)

⁸³ Отсюда – вся я. (Примеч. М. Цветаевой.)

* * *

Радость хлебу – вот лучшая благодарность! Благодарность, кончающаяся с последним глотком в пищевод.

* * *

Неужели эта частность, малость, подразумеваемость (для меня) – *дашь* – неминуемо должна вырасти в какую-то гору из-за приставки: *мне*.

Я-то ведь знаю, как дают: слепо! И я разве сама стерплю, чтобы меня благодарили за хлеб? (За стихи не стерплю – вот что!)

Хлеб – разве что я?! Стихи (случайность песенного дара) – разве это я?!

Я, это под небом, одна. Отойдите и благодарите.

* * *

Я не хочу низко думать о людях. Когда я даю человеку хлеб, я даю голодному, то есть пищеводу, то есть *не ему*. Его душа здесь ни при чем. Я могу дать любому – и не я даю: любой. Хлеб сам себя дает. И я не хочу верить, чтобы любой, давая моему пищеводу, требовал за это с *моей* (или моей)

души.

* * *

Но не пищевод дает: душа! Нет, рука. Эти дары не личны. Странно предпочитать один желудок другому, а если и предпочитать – то более голодный. Более голодный, на сегодня, мой (твой). Я за это не ответственна.

* * *

Так, установив дающего (руку) и получающего (пищевод), – странно требовать одному куску мяса от другого куску мяса... благодарности.

* * *

Души благодарны, но души благодарны исключительно за души. Спасибо за то, что ты есть.

Все остальное – от меня к человеку и от человека ко мне – оскорбление.

* * *

Дать, это не действенность наша! Не личность наша! Не

страсть! Не выбор! Нечто, принадлежащее всем (хлеб), следовательно (у меня его нет), у меня отобранное, возвращается (через тебя) ко мне (через меня – к тебе).

Хлеб нищему – восстановление прав.

Если бы мы давали, кому *мы* хотим, мы были бы последние негодяи. Мы даем тому, *кто* хочет. Его голод (воля!) вызывает наш жест (хлеб). Дано и забыто. Взято и забыто. Никакой связи, никакого родства. Дав, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь.

Без последствий.

* * *

– Так зачем же мне тебе давать?

– Чтобы не быть подлецом.

* * *

Помню гимназисткой – в проходном церковном дворе – нищий. – «Подайте, Христа ради!» – Миную. – «Подайте, Христа ради!» – Продолжаю идти. Он, забегаая:

– «Не ради Бога – так хошь ради черта!»

Почему дала? Вознегодовал.

* * *

Хлеб. Жест. Дать. Взять. Этого не будет *там*. Поэтому все, возникающее из дать и взять, – ложь. Сам хлеб – ложь. Ничто, построенное на хлебе, не уцелеет (замешенное на дрожжах – не взойдет). Опара наших хлебных чувств при хладной температуре Бессмертия неминуемо опадет.

Не стоит и замешивать.

* * *

Брать – стыд, нет, давать – стыд. У берущего, раз берет, явно нет; у дающего, раз дает, явно есть. И вот эта очная ставка есть с нет...

Давать нужно было бы на коленях, как нищие просят.

* * *

К счастью, этим стыдом даяния награждены только нищие. (Деликатность их дара!) Богатые ограничиваются мимнутой заминкой докторского гонорара.

* * *

Благодарность: от любования до опрокинутости.

Я могу любоваться только рукой, отдающей последнее, следовательно: я никогда не могу быть благодарной богатым.

...Разве что за робость их, виноватость их, сразу делающую их невинными.

* * *

Бедный, когда дает, говорит: «Прости за малость». Смущение бедного от «больше не могу». Богатый, когда дает, ничего не говорит. Смущение богатого от «больше не хочу».

* * *

Дать, это настолько легче, чем брать, – и настолько легче, чем *быть*.

* * *

Богатые откупаются. О, богатые безумно боятся – не Революции, так Страшного Суда. Я знаю мать, покупающую молоко чужому (больному!) ребенку только для того, чтобы не

погиб ее собственный (здоровый). Богатая мать, спасая чужого ребенка от смерти (достоверной),

только выкупает своего у смерти возможной. («Умолить судьбу!»)

Я смотрю в исток поступка, в умысел его. Это молоко ей, богатой матери, на Страшном Суде потечет смолой.

* * *

Благотворительность. Поликратов перстень.

* * *

Дар нищего (кровный, последний!) безличен. «Бог дает». Дар богатого (излишек, почти отброс) имеет имя, отчество, фамилию, чин, звание, род, день, час, число. И – память. Дала правая, а помнят обе.

Нищий, подав из руки в руку, забыл. Богатый, выславший через прислугу, помнит. И, если вдуматься, понятно: некий оправдательный материал для Страшного Суда.

– Гадательный материал.

Москва, июль 1919

Отрывки из книги «Земные приметы»

Таинственная скука великих произведений искусства – одних уже наименований их: Венера Милосская, Сикстинская Мадонна, Колизей, Божественная Комедия (исключение Музыка. «Девятая симфония» – это всегда вздымает!).

Точно на них пудами навязла скука всех их читателей, читателей, попечителей, толкователей...

И таинственное притяжение мировых имен: Елена, Роланд, Цезарь (включая сюда и творцов вышеназванных творений, если имена их пребыли).

* * *

Сказанное относится к звуку имен их, к моему слуховому восприятию. Касательно же сущности – следующее:

Творению я несомненно предпочитаю Творца. Возьмем Джоконду и Леонардо. Джоконда – абсолют, Леонардо, нам Джоконду давший, – великий вопросительный знак. Но может быть, Джоконда и есть ответ Леонардо? Да, но не исчерпывающий. За пределами творения (явленного!) еще целая бездна – Творец: весь творческий Хаос, все небо, все недра, все завтра, все звезды, – все, обрываемое здесь земною

смертью.

Так абсолют (творение) превращается для меня в относительность: вехи к Творцу.

– Но это уничтожение искусства!

– Да. Искусство не самоцель: мост, а не цель.

* * *

Произведение искусства отвечает, живая судьба спрашивает (тоска рожденного по воплощению в искусстве!). Произведение искусства, как совершенное, приказует, живая судьба, как несовершенное, просит. Если ты хочешь *абсолюта*, иди к Венере – Милосской, Мадонне – Сикстинской, Улыбке – Леонардовской, если ты хочешь дать абсолют (ответить!), иди к Афродите – просто, Марии – просто, Улыбке – просто: минуя толкование – к первоисточнику, т. е. делай то же, что делали творцы этих творений, безымянных или именных.

* * *

Этим ты не умаляешь ни Гёте, ни Леонардо, ни Данте. Твоя немота перед ними – твоя дань им. Что можно ответить на исчерпывающий ответ? Молчишь.

Но если ты рожден в мир – давать ответы, не застывай в

блаженном небытии, не так творили и не этого, творя, хотели Гёте, Леонардо, Данте. Быть опрокинутым – да, но уметь и встать: припав – оторваться, пропав – воскреснуть.

Коленопреклонись – и иди мимо: в мир нерожденный, несотворенный и жаждущий.

* * *

В этой *отбрасывающей* силе и есть главная сила великих произведений искусства. Абсолют отбрасывает – к созданию абсолютов же! В этом и заключается их действенность и вечная жизнь.

* * *

Но между Джокондой (абсолютным толкованием Улыбки) и мною (сознанием этой абсолютности) не только моя немота – еще миллиарды толкователей этого толкования, все книги о Джоконде написанные, весь пятивековой опыт глаз и голов, над ней тщившихся.

Мне здесь нечего делать.

Абсолютна, свершена, совершенна, истолкована, залюблена.

Единственное, что можно перед Джокондой, – *не быть*.

* * *

«Но Джоконда улыбкой – спрашивает!» На это отвечу: «Вопрос ее улыбки – и есть ответ ее». Неизбежность вопроса и есть абсолют ответа. Сущность улыбки – вопрос. Вопрос дан в непрерывности, следовательно, дана сущность улыбки, ответ ее, абсолют ее.

Толковать Улыбку (Джоконду) ученым, художникам, поэтам и царям – бессмысленно. Дана Тайна, тайна как сущность и сущность как тайна. Дана Тайна в себе.

* * *

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть вместо него: стол, стул.

* * *

Дочь, у которой убили отца, – сирота. Жена, у которой убили мужа, – вдова. А мать, у которой убили сына?

Вся тайна в том, чтобы сто лет назад видеть, как сегодня, и сегодня – как сто лет назад.

(Уничтожение... я хотела написать: пространства. Нет,

времени. Но «время» не мыслишь иначе как: расстояние. А «расстояние» – сразу версты, столбы. Стало быть: версты, это пространственные годы, равно как год – это во времени – верста.

Так или иначе, но перемещать годы и версты – нужно.)

* * *

Верста: уводящая! Насколько это лучше «исходящей» (о «входящей» уже не говорю: вошла – так осталась!).

* * *

Любовь – как заговор:

Zur rechten Zeit,
Am rechten Ort,
Der rechte Mann —
Das rechte Wort⁸⁴.

И главное – Wort! Zeit, Ort, Mann – уступаю.

⁸⁴ В то самое время, В том самом месте, Тот самый человек — То самое слово, (нем.)

* * *

Когда я уезжаю из города, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так о Фрейбурге, например, где я была девочкой. Кто-то рассказывает: «В 1912 г., когда я, проездом через Фрейбург...» Первая мысль: «Неужели?» (То есть неужели он, Фрейбург, есть, продолжает быть?) Это не сомнение, я знаю, что я в жизни городов – ничто. Это не: *без меня?! а: сам по себе?!* (То есть: он действительно есть, вне моих глаз есть, не я его выдумала?)

Когда я ухожу из человека, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так и о Z, например. Кто-то рассказывает: «В 1917 г., когда я встретился с Z»... Первая мысль: «Неужели?» (То есть: неужели он, Z, есть, продолжает быть?) Это не сомнение, я знаю, что я в жизни людей – ничто...

* * *

«Кончается, перестает быть». Здесь нужно различать два случая.

Первый:

Сильно ожитые (оживленные? выжатые?) мною люди и города пропадают безвозвратно: как проваливаются. Не гулкие Китежи – глухие Херкуланумы.

Города и люди же, лишь беглым игралищем мне служившие, – застывают: на том самом месте, на том самом жесте. Стереоскоп.

Когда я слышу о первых, я удивляюсь: неужели *стоит*?
Когда я слышу о вторых, я удивляюсь: неужели *растет*?

Повторяю, это не сомнение, это глубокое, невинное, подчас радостное изумление. Слушаю, расспрашиваю, участвую, сочувствую... и, втайне: «Не Фрейбург. Не тот Фрейбург. Личина Фрейбурга. Обман. Подмена».

* * *

Надо, в Революции, многое запереть на ключ: все, кроме сундуков! И, заперев, закинуть этот ключ... но и моря такого нет!

Нет, заперев, молча и мужественно вручить этот ключ – Богу.

Бог я произношу, как утопающий: вздохом. Смутное чувство: не надо Бога тревожить (знать), когда сам можешь. А «можешь» с каждым днем растет...

Есть у Мандельштама об этом изумительный (отроческий) стих:

...Господи! – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...

и – дальше:

Имя Божье, как большая птица,
Вылетело из моей груди...

Нечаянно. – Но я никогда не дерзну назвать себя верующей, и это – молитвой.

* * *

Что я в ущерб чему в жизни не провозглашала!

Фотографию в ущерб портрету, крепостное право в ущерб вообще праву, капусту в ущерб розе, Марфу в ущерб Марии, староверов в ущерб Петру... Самое обратное себе – в ущерб самой себе!

И не из спорта (отсутствует!), не для спора (страдаю!) – из чистой справедливости: прав, раз обижен.

И еще: из полной невозможности со-чувствия (-мыслия, –любия) с лицемерами, втайне бесспорно предпочитающими: фотографию – портрету, крепостное право – просто-праву, капусту – розе, Марфу – Марии, длиннобородых – Петру!

* * *

Но есть еще тайна: вещь, обиженная, начинает быть правой. Собирает все свои силы – и выпрямляется, все свои пра-

ва на существование – и стоит.

(NB Действенность гонимых идей и людей!)

Нет ведь окончательной лжи, у каждой лжи ведь хотя бы один луч – в правду. И вот она вся идет по этому лучу. Обнаруженная и покаранная вина уже становится бедою, ответственность спадает на головы судей. Преступник, осужденный здесь, перед Богом чист. Но есть еще тайна, и страшнейшая, быть может: заразность караемых нами недугов, наследственность вины. Преступник, насильственно избавляемый нами от болезни, передает нам болезнь. Каждый судья и палач – наследник.

Есть еще в этом какая-то воля крови. Кровь земная проливаться должна. Преступника нет, ближайший родственник палач (или судья, равно!). Недопролитая преступником кровь вопиет к палачу: пролей! Секунда казни – секунда союза. Первая капля брызнувшей преступниковой крови – уже вступление во владение... и обязанности.

Есть браки таинственнее мужа и жены.

* * *

(Таинственное соответствие: алтарь, плаха; топор, крест; народ, хор; судья, священник; палач и жертва – брачующиеся; вместо невидимого Бога – невидимый Черт. Чертова свадьба наоборот, с той же непреложностью безмолвного обета.)

* * *

Ни одна правда (из царства Там) не может не сделаться ложью в царстве Здесь. Ни одна ложь (из царства Здесь) не может не сделаться правдой в царстве Там.

Правда – перебежчица.

* * *

В комиссариате:

Я, невинно: «А трудно это – быть инструктором?»»

Моя товарка по комиссариату, эстонка, коммунистка:
«Совсем не трудно! Встанешь на мусорный ящик – и кричишь, кричишь, кричишь...»

* * *

Буржуазии для очистки снега запретили пользоваться лошадиными силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе верблюда. И верблюд возил. И солдаты сочувственно смеялись: «Молодцы! Ловко обошли декрет!»

(Собственными глазами видела на Арбате.)

* * *

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!

(Стих о вобле в газете «Всегда вперед!».)

* * *

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актера и поэта – разное. Дело поэта: вскрыв – скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покрова голоса – он гол. Поэт всегда замечает следы. Голос поэта – водой – тушит пожар (строк). Поэт *не может* декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт – уединенный, подмости для него – позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наисовершеннейшим из проводов!), использовать *Психею* для *успеха*?! Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!

– Я не импресарио собственного позора! —

Актер – другое. Актер – вторичное. Насколько поэт – *etre*⁸⁵, настолько актер – *paraetre*⁸⁶. Актер – упырь, актер –

⁸⁵ Быть (фр.).

плющ, актер – полип. Говорите, что хотите: никогда не поверю, что Иван Иванович (а все они – Иваны Ивановичи!) каждый вечер волен чувствовать себя Гамлетом. Поэт в плену у Психеи, актер Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт – самоцель, покоится в себе (в Психее). Посадите его на остров – перестанет ли он *быть*? А какое жалкое зрелище: остров – и актер!

Актер – для других, вне других он невыносим, актер – из-за Других. Последнее рукоплескание – последнее биение его сердца.

Дело актера – час. Ему нужно торопиться. А главное – пользоваться: своим, чужим, – равно! Шекспировский стих, собственная тугая ляжка – все в котел! И этим сомнительным пойлом вы предлагаете опиваться мне, поэту? (Не о себе говорю и не за себя: Психею!)

Нет, господа актеры, наши царства – иные. Нам – остров без зверей, вам – звери без острова. И недаром вас в прежние времена хоронили за церковной оградой!

* * *

(Исключение для: певцов, поработанных стихией голоса, растворяющихся в ней, – для актрис, то есть: женщин: то есть: природно себя играющих, и для всех тех, кто, прочтя

меня, *понял – и пребыл.*)

* * *

Все это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне – в следующей сдержанной заметке:

«Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра».

* * *

Мастерство беседы в том, чтобы скрыть от собеседника его нищенство. Гениальность – заставить его, *в данный час, быть* Крезом.

* * *

Москва сейчас смотрит на трамваи с недоверием, как на воскресшего Лазаря. (И, мгновенно забывая и Москву, и трамваи: а ведь недоверие Лазаря к миру – страшнее!)

* * *

Лазарь: застекленевшие навек глаза. Лазарь – глаза –

Glas... И еще glas des morts⁸⁷... (Неужели от этого?)

* * *

«Воскреси его, потому что нам без него скучно!» – то же самое, что: «Разбуди его, потому что мы без него не спим»... Разве это довод? – О, какое мертвое, плотское, чудовищное чудо! Какое насилие над Лазарем и какое – страшнейшее – над собой!

Лазарь, возвращающийся *оттуда*: мертвый – к живым, и Орфей, спускающийся *туда*: живой – к мертвым... Разверстая яма и Елисейские Поля. – Ах, ясно! – Лазарь *оттуда* мог принести только тлен: дух, в Жизнь воскресший, в жизнь не «воскресает». Орфей же из жизни ушел – в Жизнь. Без чужого веления: жаждой своей.

* * *

(А может быть, просто обряд погребения? Там – урна, здесь – склеп. Орфею навстречу в Аиде двинулся призрак, из пепла восставший. А Марии и Марфе – труп.)

⁸⁷ Похоронный звон (*фр.*).

* * *

Как мне жаль Христа! Как мне жаль Христа за его насильственные чудеса! Христос, пришедший горы двигать – словом! «Докажи, тогда поверим!» – «Верим, но подтверди!» Между чудом в Кане (по просьбе Марии) и испытующим перстом Фомы – странная переключка. Если бы Мария была зорче, она бы, вслед за превращением воды в вино, увидела другое превращение: вина – в кровь...

Убеждена, что Иоанн у Христа не просил чудес.

* * *

В Комиссариате: (З М).

– Ну, как довели картошку?

– Да ничего, муж встретил.

– Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку, $\frac{2}{3}$ картошки, $\frac{1}{3}$ муки.

– Правда? Нужно будет сказать матери.

У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

* * *

«Пражская столовая» на углу Николо-Песковского и Ар-

бата. Помню, в военные времена, бюст Бонапарта. Февральская Революция сменила его на Керенского. Ах, о Керенском! Есть у меня такой сувенир: бирюзовая картонная книжечка с золотым ободком, распахнешь: слева разбитое зеркальце, справа – Керенский. Керенский, денно и ночью глядящийся в дребезг своих надежд. Эту реликвию я получила от няньки Нади, в обмен на настоящее зеркало, цельное, без Диктатора.

Возвращаясь к столовой: Керенского Октябрь заменил Троцким. Устрашающая харя Троцкого, взирающая на пожирающих детей. И еще Марксом, который, занятый Троцким, на детей не глядит. Пресловутый и спорный суп, кстати, дети выплескивают в миску сенбернара *Марса*, с 12-ти до 2 часов дежурящего у дверей. Иногда перепадает и в миски нищенок: Марс не ревнив.

* * *

Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода – даже голода моих детей.

– Ну как у Вас, все есть?

– Да, пока слава Богу.

Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом?

– Просто матью.

* * *

(Сейчас, в 1923 г., ставлю вопрос иначе:

Кем нужно было быть, чтобы тогда, в 1919 г., в Москве, зная меня, видя моих детей – так спрашивать?!

– Просто «знакомым».)

(Вторая пометка:

Не корректность – чуткость на интонацию! Вопрос диктует ответ. На «ничего нет» в лучшем смысле последовало бы: «Как жаль!»

Дающий не спрашивает.)

* * *

Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба...

Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми.

Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб – краду.

* * *

Мои покражи в Комиссариате: два великолепных клетчатых блокнота (желтых, лакированных), целая коробка пе-

рьев, пузырек английских красных чернил. Ими и пишу.

* * *

Кривая вывозит, прямая топит.

* * *

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу: «Монпле-эзир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

* * *

Мое «не хочу» всегда: «не могу». Во мне нет произвола. «Не могу» – и кроткие глаза.

* * *

Мое «не могу» – некий природный предел, не только мое – всякое. В «хочу» нет предела, поэтому нет и в «не хочу».

* * *

Не хочу – произвол, не могу – необходимость. «Чего моя

правая нога захочет...», «Что моя левая нога сможет», – этого нет.

* * *

Не могу священнее не хочу. Не могу, это все переборотые не хочу, все исправленные попытки хотеть – это последний итог.

* * *

Мое «не могу» – это меньше всего немоть. Больше того: это моя главная моть. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет, вопреки моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю меня, значит, есть (помимо моей воли!) – «во мне», «мое», «меня», – есть я.

* * *

Не хочу служить в Красной армии. Не могу служить в Красной армии. Первое предпосылает: «Мог бы, да не хочу!» Второе: «Хотел бы, да не могу». Что важнее: не мочь совершать убийства или не хотеть совершать убийства? В не мочь – вся наша природа, в не хотеть – наша сознательная воля.

Если ценить из всей сущности волю – сильнее, конечно: не хочу. Если ценить всю сущность – конечно: не могу.

* * *

Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растет оттуда, откуда и наши могу: все дарования, все откровения, все наши Leistungen⁸⁸: руки,двигающие горы; глаза, зажигающие звезды. Из глубин крови или из глубин духа.

* * *

Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о *кротком* не могу.

* * *

Утверждаю: не могу, а не не хочу создает героев!

* * *

Да будет мое не хочу – не могу: великим и последним не хочу всего существа. Будем *хотеть* самых чудовищных ве-

⁸⁸ Деяния (нем.).

щей. Ноги, ступайте! Руки, хватайте! – чтобы в последнюю минуту: ноги вкопанные, топор – из рук: не могу!

* * *

Будем начинать с хотения! Перехотим все! «Не могу» без всех испробованных «хочу» – жалкая немощь и, конечно, кончится: могу.

* * *

– Но если я не только не могу (предать, скажем), если я еще и не хочу *мочь?* (предать).

Но в настоящих устах не хочу и есть не могу (не воля моя одна, а вся сущность моя не хочет!), но в настоящих устах не могу и есть не хочу (не бессознательная сущность моя одна, но и воля моя не хочет!).

Не могу этого хотеть и не хочу этого мочь. – Формула. —

* * *

Не могу: 1) взять в руки червя, 2) не встать на защиту (прав, виноват, здесь, за сто верст, днесь, за сто лет – равно), 3) встать на защиту – свою, 4) любить совместно.

* * *

Стоит мне только начать рассказывать человеку то, что я чувствую, как – мгновенно – реплика: «Но ведь это же рассуждение!»

Чувства, для людей, это какие-то простоволосые фурии, нечто не в них происходящее: на них обрушивающееся. Вроде каменного обвала, под которым они сразу – в кашу!

– иначе:

Четкость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения.

* * *

Я не влюблена в себя, я влюблена в эту работу: слушание. Если бы другой так же дал мне слушать себя, как я сама даю (так же дался мне, как я сама даюсь), я бы так же слушала другого.

О других мне остается только одно: гадать.

* * *

– Познай самого себя!

Познала. – И это нисколько не облегчает мне познания

другого. Наоборот, как только я начинаю судить человека по себе, получается недоразумение за недоразумением.

* * *

Я не думаю, я слушаю. Потом ищу точного воплощения в слове. Получается ледяная броня формулы, под которой – только сердце.

* * *

Я не подслушиваю, я выслушиваю. Так же, как врач: грудь. И как часто: стучишь – глухо!

* * *

Есть люди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающиеся в людях. (Не Бонапарт – XIX век: XIX век – Бонапарт!)

* * *

О бытии и небытии в любимом:

Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда – пропасть! Всегда пропасть! (В пропасть.)

* * *

«Живой» никогда не даст себя так любить, как «мертвый». Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне напоминает вечный вопль детства: «Я сам! Я сам!» И непременно – ногой в рукав, рукой в сапог.

Так и с любовью.

* * *

Я хочу в тебе уничтожиться, то есть я хочу быть тобой. Но тебя уже в тебе нет, ты уже целиком во мне. Пропадаю в собственной груди (тебе). Я не могу пропасть в твоей груди, потому что там тебя нет. Но, может быть, я там есть? (Взаимная любовь. Души поменялись домами.) Нет, и меня там нет. Там ничего нет. Меня же нигде нет. Есть моя грудь – и ты. Я тебя люблю тобой.

Захват? Да. Но лучше, чем товарообмен.

* * *

Ну, а взаимная любовь? (Товарообмен.) Единовременный и перекрестный захват (отдача). Два пропада: души

X в собственной груди, где Z, и души Z – в собственной

груди, где Х.

Но раз я в тебе живу, я не пропала! Но раз ты во мне живешь, ты не пропал! Это бытие в любимом, это «я в тебе и ты во мне», это все-таки *я* и *ты*, это не двое стали одним. Двое стали одним – небытие. Я говорила о небытии в любимом.

* * *

Двое – одно, то есть: небытие в любимом возможно только для одного. Для того, чтобы не-быть в другом, нужно, чтобы другой *был*.

* * *

Оговорка: Все сказанное относится, конечно, к нашему восприятию души другого, к нашей тайной жизни с душой другого.

При условии, что каждый из двух не знает, что другого нет, верит, что другой есть, не знает, что другой в нем уничтожен, – при условии незнания взаимное небытие друг в друге, конечно, возможно.

* * *

Наш захват другого – только в нас.

«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне». Так думает поэт о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж и любить другого, но ее замужество, в свою очередь, не мешает и не может помешать поэту.

Больше скажу: сила захвата в прямом соотношении с тайной, глубина его – с внешней опровержимостью его. Когда уже ничто не мое – все мое! Это прямой дорогой подводит нас к смерти: физической смерти любимого.

Только не смешивайте с ревностью! «Не будь» ревности – от нищеты и страха. («Раз в гробу то уже нет соперников!») Для захвата ни соперников, ни гроба: «не будь» захвата – это последний отказ, дающий последнюю власть.

* * *

Выдавайте ваших красавиц подальше замуж, поэты! Чтобы ни один ваш вздох (стих) не дошел, не вернулся – вздохом! Откажитесь даже от снов о них.

День их бракосочетания – ваш первый шаг к победе, день их погребения – ваш апофеоз.

(Беатриче. Данте.)

* * *

Любовь для меня – любящий. И еще: ответно любящего

я всегда чувствую третьим. Есть моя грудь – и ты. Что здесь делать другому? (действенности его?)

Ответ в любви – для меня тупик. Я ищу не вздохов, а выходов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.